

Федор Михайлович Решетников

# Где лучше?



Федор Решетников

**Где лучше?**

«Public Domain»

1868

## **Решетников Ф. М.**

Где лучше? / Ф. М. Решетников — «Public Domain», 1868

«...Зима. Небо заволкло тучами. Дует резкий ветер. На большой дороге, близ села Моргунова, никто нейдет и не едет; только полесовщик, сидя у своего шалаша, имеющего вид пирамиды, занесенного и убитого для тепла с трех сторон снегом, покуривает из трубки махорку и, поплеывая направо и налево, сосредоточенно смотрит на толстое сосновое дерево, одиноко стоящее от опушки леса, сквозь который в некоторых местах теперь, в зимнее время, видятся пустые пространства, покрытые толстыми слоями снега...»

## Содержание

Часть первая. В провинции	5
I. Путники	5
II. История путников	8
III. Короваев отделяется от Горюновых	13
IV. Горюновы поступают в рабочие на промысла и опять встречаются с полесовщиком	19
V. Семейство полесовщика	24
VI. Рабочий день на промыслах	29
VII. Терентий Горюнов и Ульянов уходят на золотые прииски	37
VIII. Разорение	45
IX. Признание Лизаветы Елизаровны	48
X. Промысловый суд	54
XI. Материн сын	57
Конец ознакомительного фрагмента.	64

# Федор Михайлович Решетников

## Где лучше?

### Часть первая. В провинции

#### І. Путники

Зима. Небо заволокло тучами. Дует резкий ветер. На большой дороге, близ села Моргунова, никто нейдет и не едет; только полесовщик, сидя у своего шалаша, имеющего вид пирамиды, занесенного и убитого для тепла с трех сторон снегом, покуривает из трубки махорку и, поплеывая направо и налево, сосредоточенно смотрит на толстое сосновое дерево, одиноко стоящее от опушки леса, сквозь который в некоторых местах теперь, в зимнее время, видятся пустые пространства, покрытые толстыми слоями снега. Вот проехала тройка почтовых лошадей, запряженная в повозку с заледенелую поверх ее накладкою, с почтовым ящиком и каким-то чиновником в шинели и фуражке с кокардою; но если бы не колокольцы, то полесовщик, казалось, и не обратил бы внимания на этих проезжающих. Когда повозка уже скрылась с изгибом дороги из вида, полесовщик встал, засунул трубку в карман полушубка и сказал, глядя на дерево:

— Кабы не начальство, срубил бы я тебя! Ей-богу... Два бревна бы из тебя сделал, и полтинник был бы у меня в кошельке... И знатный бы я купил платок хозяйке!.. А срубить нельзя, потому все деревья на перечеете.

И полесовщик, почесавши спину, ушел в шалаш.

Немного погодя на дороге, с западной стороны, показалась небольшая группа людей, шедших врассыпную.

Когда из шалаша вышел полесовщик с чугунным ломом, эта группа, состоящая из пяти человек, уже приближалась к нему.

Полесовщик, положивши лом на левое плечо, стал разглядывать приближавшихся путников. Впереди шел мужчина лет сорока восьми, с корявым широким лицом, на правой щеке которого был большой шрам, с кудреватыми пепельного цвета волосами и маленькой бородкой тоже пепельного цвета, с большими глазами, густыми сросшимися бровями, с толстым носом и бородавкой на левой ноздре. На нем надет был тулуп, сшитый из овчин и покрытый синим, уже облинявшим сукном. На ногах сапоги, на голове фуражка, на шее ситцевый платок, свернутый наподобие галстука. За ним шел человек лет двадцати восьми, с бледным, привлекательным лицом, голубыми умными глазами, с небольшими усами и пепельного цвета волосами на голове, остриженными в скобку. На нем тоже был тулуп, крытый черным сукном, с закинутыми полами за красную тканую опояску; на голове фуражка, на ногах сапоги. Шагах в двух от него шла женщина лет двадцати, с румяным правильным лицом, карими глазами. Голова ее была покрыта желтым шерстяным платком с радужным кружком, в виде колеса, на затылке; на ней надет шугайчик, подбитый куделею и покрытый зеленым тиком. Этот шугайчик покрывает только грудь и спину, а ситцевый серый с цветочками сарафан служит дополнением одеяния; но и сарафан этот не совсем прикрывает ноги, обутые в шерстяные чулки и ботинки. Все трое несли на спинах по мешочку или узелку разных величин, а у второго мужчины, кроме этого, к мешку была привязана пила. За женщиною шли рядом два мальчика, из коих одному было лет оснадцать, другому пятнадцать. Лицо старшего было очень бледно и худославо, на нем выражалась боль; лицо же младшего было полно, румяно и красиво; в глазах старшего замечалась злость, презрение, в глазах младшего — хитрость и плутоватость. Костюмами оба маль-

чика не щеголяли: на обоих надеты были тиковые халаты одинакового зеленого, полинявшего цвета, продранные под пазухами и на локтях, отчего у старшего виднелась загрубелая синекрасная кожа локтя, а у меньшего – рукав красной изгребной рубахи; на обоих были надеты фуражки с разорванными бумажными козырьками; на ногах старшего были худые сапоги, на ногах младшего – ботинки.

Первый мужчина поравнялся с полесовщиком.

– Здорово, живая душа! – проговорил он, сняв фуражку, и пошел к полесовщику.

Остальные скучились в одном месте, но второй мужчина пошел за первым.

– Куда бог несет? – спросил, улыбаясь, полесовщик, глядя на лицо подошедшего мужчины.

– Туда, где лучше.

– Ха-ха!

– Да! Вот ты и раскуси!.. Небось, много лет по лесу шатаешься, а не выдумал другого места?

– Што и говорить! – и полесовщик задумался.

Мужчина стал накладывать в трубку табак; полесовщик тоже вытащил свою трубку и подставил левую ладонь к мужчине; тот, не говоря ни слова, насыпал на ладонь полесовщика немного табаку.

– Скоро ли вы там? – сказала женщина по-заводски, растягивая последнее слово.

На нее никто не обратил внимания. Мальчики пошли к шалашу, за ними пошла и женщина.

– Издалека идете? – спросил мужчин полесовщик.

– Да верст двести будет...

– Сперва ехали по-цыгански – все вместе, то на дровнях, то на дровах, как придется. Да больно тихо и холодно. Пехтурой-то лучше! – говорил молодой мужчина.

– Так вы туда, где лучше! Гм!! Где же это такое место? – говорил в раздумье полесовщик.

– Искать будем.

– Это все вместе – все пятеро?! Это хозяйка, молодуха-то? – спросил полесовщик молодого мужчину.

– Хозяйка.

– То-то: лицом-то схожи.

– Врет! Какая я ему хозяйка: он Короваев, а я Мокроносова.

Молодой мужчина поглядел на женщину.

– Чево лицо-то корчишь? Ты наперед женись на мне, да потом и хвастайся! – проговорила женщина.

– Однако баба-то у вас вострая. А должно быть, неаккуратная, што у нее башмак развязался и завязка – эвон де болтается! – проговорил полесовщик и захохотал.

Щеки женщины покраснели более обыкновенного, и она, отошедши немного, стала завязывать ботинок.

– Што ж, али у вас своего хозяйства нету, што вы пошли? – спрашивал полесовщик путников.

– Было, да разъехалось, – сказал пожилой мужчина.

– А ты, видно, столяр?

– А што? Есть здесь где работа?

– Да оно, пожалуй: столяр не полесовщик... Вам об этом говорить нечего – люди заводские, как и я, грешный человек. Только у меня в селе Демьяновом есть шурин; так, братец ты мой, он этим ремеслом так разжился, что мое почтение! Сызмальства к этой работе приучился.

– А ты-то што же торчишь тут?

– Э! То-то ты заводский человек, а ума-то у те мало. Што и говорить, коли, раз, я не обучен к такому ремеслу... топором я мастер, а стругать – нет; а другой: здесь все ж вольготнее.

– Так он как – один или с рабочими работает?

– Один, один, без рабочих, как перст... Да и окромя его, есть мастера, да уж те супротив него далеко не в ходу. А ты не к нам ли искать-то счастья идешь?

– Нет... я посмотрю.

– То-то. Если к нам, так ты ожжешься. Народ у нас вот какой: все бы взять... А што до отдачи, так на этом покорно благодарим... Вот што!

– Што ж мы здесь на житье, што ли, пришли? – крикнула женщина.

– Так ты говоришь, место дрянь? Эдак нажить капитал нельзя? – спросил полесовщика пожилой мужчина.

– Ха-ха! Да откуда нажить-то? Ежели торговлей, так торгашей – как червей!

– Ну, это еще надо узнать. Прощай, друг, спасибо за огонь!

И путники пошли не торопясь, разговаривая друг с другом.

Полесовщик долго стоял в одном положении, глядя на удаляющихся путников.

– Ишь ты! Пошли искать, где житье лучше! Оказия! – сказал он и, как только скрылись путники, пошел в лес, говоря сам с собою: – где лучше?... Посмотреть на вас, так плевка не стоите. А тоже чево-то ищут... Ах, горе, горе!..

## II. История путников

Пожилой мужчина, Терентий Иванович Горюнов, – отставной мастеровой Терентьевского горного завода; женщина, Пелагея Прохоровна Мокроносова, – мастерская вдова, племянница Терентия Ивановича Горюнова; мальчики – ее братья: старший – Григорий Прохорович Горюнов, младший – Панфил Прохорович Горюнов. Другой мужчина – мастеровой Терентьевского горного завода, Влас Васильевич Короваев.

Все эти лица назад тому год жили в Терентьевском частном горном заводе и имели различные занятия. Терентий Иваныч с самого детства слыл в заводе за чудака, потому что забавлял всех своею непонятливостью и своею смешною физиономиею, которая, говорят, с детства была очень уродлива. Поэтому, может быть, он, вместо рудничных работ, попал на посылки к разным должностным лицам завода – и в таком положении проболтался до двадцатипятилетнего возраста, когда у него явилось непреодолимое желание жить своим умом, своим хозяйством и иметь самостоятельный род занятий. На первых порах он мог выдумать только музыкальное занятие, то есть игру на гармонике, на которой лучше его во всем заводе никто не играл. Стал он разыгрывать в кабаках разные заводские песни; а так как кабаки в то время существовали от откупа, водка была дорогая и скверная, почему в будни покупателей ее было мало, то целовальники придумали такое средство: за каждое посещение Терентия Горюнова с музыкой и за игру для посетителей, не менее десяти человек, платить ему гривну меди. И Терентий Горюнов ежедневно по вечерам, как раз к тому времени, как рабочие возвращались с работ из фабрик домой, садился на крылечко кабачка и, завидя какого-нибудь рабочего, начинал играть какую-нибудь заунывную заводскую песню, зная наперед, что у рабочего и без музыки невесело на душе. Поравнявшись с Горюновым, рабочий останавливался.

– Што, Тешка, горе великое, плачешь? – спрашивает рабочий.

– Горе мое великое, выпить хочется, да денег нема! – говорит Горюнов и продолжает наигрывать.

– Будь ты проклятая, пакля!

Рабочий плюнет и пойдет.

– А ты заходи: в долг поверит, а я развеселю.

Рабочий подумает-подумает: руки и ноги болят от работы, кости ломит, на душе невесело – и зайдет в кабак, и если нет денег, целовальник отпустит водки на мелок.

Мало-помалу музыка Горюнова производила свое действие: за одним рабочим шли в кабак другие и, выпивая водки, заставляли его играть на гармонике. И редкий день проходил без того, чтобы Горюнов не получал от целовальников по гривне. Но зато эти деньги не легко ему доставались. Не говоря уже о мозолях на пальцах, ему постоянно приходилось сносить насмешки и ругательства рабочих, заключавшиеся в том, что он, Горюнов, нарочно прикинулся дурачком для того, чтобы ему не работать, что он вовсе не дурак, а первый плут во всем заводе. Хотя Горюнов и старался доказать, что он тоже работник, потому что играть целый вечер для одного или нескольких рабочих не шутка, что, забавляя рабочих, он этим самым, так сказать, выкупает фабричную работу, – но его не хотели слушать ни пьяные, ни трезвые. Доходило до того, что пьяные его били за малейшее ослушание или просто за то, что он не умел угодить им игрой, так как музыка доводила некоторых до остервенения. Однако, как ни ругали его рабочие в пьяном виде, он все-таки слыл в заводе за отличного игрока, и только не пьющие водки называли его пропащим человеком.

Своею гармониею, а главное игрой, Горюнов произвел мало-помалу такое действие, что не было в заводе мужчины, который бы хоть раз не посетил кабак и не выпил там чего-нибудь. Если кто до тех пор имел о кабаке дурное понятие, тот с этого времени находил много в нем утешения; не пьющий водки человек заходил туда потешиться над пьяными товарищами и выпить



за компанию кружку пива, которая стоила грош; дома убийственное однообразие, писк детей, ворчание старухи матери; в кабаке – пляски, дружественные разговоры, игра Горюнова на гармонике, песни... И Горюнов прославился. Но сильно зато его невзлюбили женщины и девицы. По их понятиям, Горюнов был самый развратный негодяй, которого непременно нужно каким-нибудь образом вытурить из завода, потому что он развращает мужей, отцов, братьев, сыновей и женихов. Прежде, бывало, мужчины в свободное время что-нибудь делали дома, а теперь все время проводят в кабаке, и если не пьянствуют, то играют в карты или в шашки. Кабак не только для взрослых, но и для подростков стал лучше дома. Прежде, бывало, подросток играет с девками на улице в мячик, а теперь сидит в кабаке и сосет трубку или папироску... И чего-чего не делали бабы и девки заводские с Горюновым! Мало того, что они ругали его в глаза, но частенько из-за угла выливали на него ушат с водой, хлестали по нем из окон мокрыми вениками, жаловались на него полицейскому начальству – ничто не помогло... Но в жизни всегда бывает так, что то, против чего мы протестуем во время нашей скуки, в другое время нам нравится. Так и без Горюнова не проходила ни одна богатая вечеринка или свадьба в заводе, ни одно народное гулянье; тогда Горюнов нравился всем своею игрой, нравился женщинам своею остротою, девушкам – шуточками и уморительными рассказами, иногда даже очень некрасивого свойства, да притом он не протестовал, когда над его лицом и манерами издевались хуже, чем над куклой.

Горюнов был добрейшее существо: никто не слыхал от него никогда не только бранного слова, но и неудовольствия; он всегда казался весел, доволен своею судьбою; но никто не знал того, что такое занятие не нравится Горюнову. Никто не знал, что Горюнов замышляет другой род занятий, копит гривны, собирает всякие бросовые вещи (что относили к его дураковатости)... И каково же было удивление терентьевцев, когда Горюнов к масленице соорудил для заводчан катушку с горы!.. До тех пор катушка существовала на пруду, то есть ее делали на столбах; теперь же Горюнов разыскал в горе такое место, которое как раз было для этого удобно. Все заводчане бросили старую катушку, кинулись к Горюнову... Горюнов торжествовал целую масленицу и собрал немало денег. Деньги эти он употребил на покупку дома своей любовнице, вдове Тюневой, которая торговала на Широкой улице калачами и секретно – пивом и брагой. Все в заводе знали про эту связь, но не обращали внимания, потому что Горюнова считали за дурачка, а Тюневу за самую последнюю женщину, от которой уже нечего ожидать хорошего. Горюнов днем терся в ее доме, изредка зазывая гостей, угощая их пивом и брагой и наигрывая на гармонике, а по вечерам, как ни в чем не бывало, являлся к брату. Семейство брата не только не было недовольно тем, что Терентий Иванович ничего не помогает в хозяйстве, но ему даже приятно было то, что он приносит ему то свечку сальную, то булку и утешает маленьких ребят своими прибаутками. В семействе все любили его, особенно дети.

Горюнов никогда ничем не хвастался и ничем не гордился, да и нечем было; однако рабочие заключили, что он не такой дурак, как об нем думают бабы. Они думали, что Горюнов неспроста перестал играть в кабаках на гармонике. Другие на его месте непременно стали бы пьянствовать, попрошайничать, а он нет. Он своей любовнице дом купил, а это что-нибудь да значит! И хоть бы любовница была молодая да красивая, а то корявая, длинноногая, низенькая ростом – такая, что ее возьмет замуж разве такой рабочий, которому не на ком больше жениться; мало этого, любовница даже бьет Горюнова. «Нет, – говорили рабочие: – Тешка выкинет какую-нибудь штуку и удивит нас всех чем-нибудь, на то он и при полиции и при разных начальниках на посылках состоял и от них, вероятно, что-нибудь да перенял...» Пробовали было рабочие советоваться с ним – никакого не вышло толку: Горюнов несет такой вздор, что смешно становится, а как засмеются рабочие, и он захохочет. Тем советы и кончатся.

Брат Горюнова был совсем другой человек. Он сызмалетства работал в рудниках, прошел все тягости горнозаводской обязательной на помещика службы, был человек горячий, справедливый, никому не льстил и от этого много терял, – и, наконец, за одну жалобу, сочиненную

писарем Мокроносовым и подписанную им, его назначили в самые тяжелые работы, где он и умер, а жена его, ходившая с жалобой по этому случаю к главному горному начальству, не только ничего не выходила, а ее привезли из горного города связанною, избитою и сумасшедшею.

В это время Горюнов женился на любовнице, а племянница его вышла замуж за писаря Мокроносова. Пелагея Прохоровна была девушка смирная, работающая. Ей нравился писарь не потому, что он умел играть на гитаре, говорил складно, умел рассказывать непонятные для нее вещи так, что она понимала их, но за то, что его любил ее отец. Сам Мокроносов ничего хорошего не мог обещать своей невесте, а только уверял, что он ее будет любить, будет стараться для ее счастья всеми силами, а главное – не станет пить водку, которую он незадолго до свадьбы стал употреблять в большом количестве. И действительно, месяца три супруги жили хорошо, но потом Пелагея Прохоровна стала замечать, что муж ее тоскует, попивает понемногу водку, не говорит с ней ласково, а если и скажет, так с сердцем. Узнала она, что мужа ее притесняют за то, что он восстает против разных несправедливостей, делаемых рабочим заводоуправлением. Всячески старалась молодая женщина утешить своего мужа, – муж запил, нагрубил кому-то, и его назначили куренным рабочим; а тут еще стали бабы говорить, что он связался с какою-то женщиною. В это время умерла ее мать; за долги отца ее с братьями выгнали из дома, и она на первых порах поселилась у дяди, который тогда уже занимался торговлею.

Наконец муж Пелагеи Прохоровны захворал и умер; она осталась беременна и без средств, но, к счастью, попала на квартиру к доброй старушке ворожее, у которой и родила мертвого ребенка. Но этого ребенка не удалось ей увидеть, потому что старуха-раскольница бросила его в пруд, – на что она имела свои причины. У этой-то старухи Пелагея Прохоровна познакомилась с внуком ее, Власом Васильевичем Короваевым, которого она и прежде несколько раз видала с отцом.

Короваев – столярный мастер. Он работал чисто, хорошо и честно. Человек он был добрый, и малейшая несправедливость волновала его чересчур, но он никогда не задира и не вооружал начальства, зная хорошо, что из этого ровно никакой не будет пользы ни ему, ни рабочим, а произойдет один вред. Работу он имел всегда; был вхож и к заводскому приказчику – двигателю всего заводского дела. Он был холост и не хотел жениться до тех пор, пока не будет иметь средств откупиться на волю. Пелагея Прохоровна прожила в его доме две недели; как он, так и она друг другу нравились, но между ними даже и речи не заходило ни о любви, ни о женитьбе. Короваев видел в Пелагее Прохоровне женщину молодую, слабую, неопытную, завлечь которую стоило небольшого труда; но ему совестно было говорить ей о том, чтобы она приискала себе какой-нибудь труд, что у него жить она долго не может; сказать же ей, что она ему нравится и что он думает жениться на ней, он не решался до тех пор, пока не выкупится на волю. Пелагея же Прохоровна думала: «Он хороший мастер, но человек гордый. Вот бы такой мне муж... Только он не ласковый».

А тут вышло такое обстоятельство, что ей нужно было идти к приказчику хлопотать о провианте братьям. Приказчик предложил ей быть его любовницей и хотел даже послать, за ней лошадь вечером, но вечером же по заводу разнеслась весть, что в завод привезли волю. Переполюх по этому случаю в заводе был страшный и продолжался недели три, и в это время Пелагею Прохоровну дядя Горюнов и Влас Васильевич увезли в город Заводск, где и нашли ей место кухарки, но сами попали в острог по подозрению в краже вещей у одного богатого купца. В остроге они просидели больше месяца, их нашли невиновными, но зато они не получили назад денег, взятых у них при арестовании; у Терентия Ивановича пропала в городе лошадь с телегой; когда же их привезли в завод как беглых, то Короваев узнал, что его сестра Василиса сожгла его дом, уехала на рудник и живет там с нарядчиком, что Григорий Прохорыч работает на руднике в шахте, а Панфил – в фабрике; Горюнов застал свою жену больною, жена сказала ему, что его дом отбирает начальство за его прогулы.

Дом от Горюнова действительно отняли за то, что он прежде не работал на завод и не поставлял вместо себя работников, и выдали ему чистую волю. Горюнов поехал жаловаться, но ничего не выходило, а прожил все деньги. Без денег в заводе ему нечего было делать, а заниматься на фабрике или в лесу он не хотел; Короваев тоже не мог никак поправиться, потому что ему месяца три нужно было зарабатывать деньги на инструменты. Обоим друзьям жизнь опротивела в заводе; везде они видели несправедливости; народ стал беднеть, воровать, пьянствовать; многие пошли искать счастья в другие места.

Поэтому Горюнов, после смерти жены, решился идти в другое место искать счастья; с ним согласился идти и Короваев. Племянники Горюнова тоже обрадовались этому и стали проситься с ним. Горюнов и Короваев решили поосмотреться в городе. Но в городе рабочих рук оказалось так много, что не только нашим терентьевцам, но и многим другим трудно было достать какую-нибудь работу. Нельзя сказать, чтобы работы не было, но при наплыве рабочих со всех сторон плата за работу дается небольшая, прежние рабочие стараются держаться прежних мест, а более ловкие оттирают от работы простаков. Горюнов и не искал для себя работы, – ему хотелось торговать, потому что и прежде он торговал гвоздями, медною посудой, фальшивыми серебряными вещами, – но так как теперь у него ничего не было для продажи, то нечего было и думать о торговле. Походил он по городу с неделю; навестил знакомых мастеров, которым прежде продавал камни – аметист, топаз и проч., хотел купить у них выделанные вещи, но мастера страшно дорожились. Поступить же куда-нибудь в лавку приказчиком Горюнов не мог, потому что в приказчики принимают людей знакомых, по рекомендациям. Так Горюнов и прожил без дела с месяц. Короваев тоже не мог найти выгодную работу, потому что в городе очень много цеховых мастеров и работать на продажу бесполезно. Счастливее их были Григорий и Панфил: они попали в извозчики, с платою в месяц по три рубля.

Положение Горюнова и Короваева было довольно неказистое: деньги выходили, а достать неоткуда...

– Здесь сколько хошь живи, ничего не наживешь. Этот город просто помойная яма! – говорил Горюнов.

– Да, Терентий Иванович! Были мы с тобой люди опытные когда-то.

– Не мы этому виноваты... Однако надо идти в другое место. Вот что я придумал: ведь у тебя много знакомых с золотых приисков. Не махнуть ли нам туда?

– Знакомые есть, только разве они помогут?... Разве в ихней воле давать нам плату?

– Ты не то судишь! Мы будем иметь золото...

– Я на это не согласен. Лучше идти в другое место, где меньше городского народа.

– Постой! Я мальчиком был в селе Моргунове, – там соль добывают. Работы страх как много.

– Не лучше ли нам идти на пушечный завод? Он, говорят, только начинается.

– Нет, уж я туда не пойду: там рабочих теперь много. Уж если здесь их много, то там и еще больше, а в Моргунове должны быть свои люди.

Через два дня после этого разговора, порасспросивши у разных рабочих, где лучше жить, Короваев и Горюнов решили идти на соляные промыслы. Но оставалось еще одно затруднение.

– Мы как пойдем: одни или нет? – спросил Короваев Горюнова.

– Это ты насчет наших-то опрашиваешь... Оно, конечно, лучше, если все вместе будем жить. Только, сам рассуди... баба!

– Ну, с Палагеей Прохоровной мы, может быть, и поладим.

– То-то, чтобы не вышло чего-нибудь...

Горюнов пошел на квартиру Пелагеи Прохоровны. Она еще очень недавно поступила в кухарки к жене столоначальника и говорила, что хуже этого места она нигде в городе не имела. Но как ни тяжела была жизнь в кухарках, ей все-таки не хотелось уходить из города, к которому она начинала привыкать. Поэтому, когда Горюнов сделал ей предложение, чтобы идти вместе

с ним, братьями и Короваевым в другое место, она долго не соглашалась, и Горюнов убедил ее только тем, что она будет сама хозяйка, не намекая, впрочем, на Короваева.

В это время у Пелагеи Прохоровны был уже короткий знакомый, дворник соседнего с ее хозяйкою дома, Егор Максимыч. Ему было годов под сорок, но он был еще красивый мужчина. Часто, как только Пелагея Прохоровна пойдет куда-нибудь, Егор Максимыч выходил из калитки, кланялся ей и говорил любезности. Случалось, по вечерам, когда не было дома хозяина и хозяйки, Пелагея Прохоровна сидела на лавке рядом с Егором Максимовичем и разговаривала о заводской жизни, о своей барыне и т. п.; но Егор Максимыч вел себя прилично и никогда не позволял себе сказать какое-нибудь неприличное слово. Егор Максимыч был вдов и имел уже взрослую дочь. Поэтому ей никак не приходило в голову, чтобы он мог предложить ей выйти за него замуж; ей просто нравилось говорить с хорошим человеком, посоветоваться с ним.

Собралась Пелагея Прохоровна совсем, распростилась с хозяйкой и пошла к Егору Максимычу.

– Куда это? – спросил тот, точно в испуге.

– Искать доброе место – где лучше!

– Здесь, в городе?

– Нет. Дядя с собой зовет.

– Напрасно, Пелагея Прохоровна... А я на тебя надеялся...

– Хуже этой барыни уж едва ли я еще, кого найду... Уж теперь я в кухарках не буду жить.

– Ну, это еще вилами писано!.. А я на тебя крепко полагался...

– Что так?

– Да так... Думаю, баба молодая, красивая... работающая... А я вдов.

– Ну?!

– Неужели ты не догадываешься?

Пелагея Прохоровна захохотала и сказала:

– Полно-ко, Егор Максимыч! Ровня ли я тебе: мне двадцатый год, а тебе сорок четвертый...

– Только тридцать восемь... Подумай, Пелагея...

– Покорно благодарю.

– Напрасно ты идешь! Обманет тебя дядя, – помяни меня!

Пелагея Прохоровна ушла. Дорогой сперва предложение дворника смешило ее, но потом ей сделалось стыдно: «И как это я не замечала, что он лебезит около меня для того, чтобы опутать меня. Поди, там все про меня говорят нехорошо... А я, дура, говорила ему обо всем, думала, что он хороший человек. А он – на, поди! Женишок!.. Уж если идти замуж, так за молодого, а то... И выдумал же ведь, что я пойду за него: ты-де бедная, а у меня деньги есть...».

Через день после этого они отправились с Григорьем и Панфилом в дорогу.

Дорогой они больше молчали, потому что о прошедшем говорить не стоило, а в будущем неизвестно что будет. Все, каждый порознь, надеялись, что где-нибудь да найдут они хорошее место. Теперь у каждого из них более прежнего было привязанности друг к другу и ко всем вообще, потому что прежде они жили порознь, каждый приобретал средства сам собой, а теперь идут они все вместе, и бог знает, кому из них будет лучше? Но никто так не нравился Пелагее Прохоровне, как Короваев. Ей нравился его высокий рост, его широкие мерные шаги, его лицо и глаза, с любовью смотрящие на нее в то время, когда он оборачивается, но не нравилось ей то, что он ничего не говорит с ней, а если и говорит, то при дяде... И хочется ей самой сказать ему, что за нее сватался дворник, ждет она удобную минуту, но когда дядя и братья отойдут далеко, ей сделается неловко: «Ну, хорошо ли говорить ему об этом? Стыд! Еще подумает бог знает что». А если и взглянет на нее Короваев, встретятся их взгляды, – сердце Пелагеи Прохоровны точно ожжет что.

### III. Короваев отделяется от Горюновых

– А скверно, что мы не спросили, где лучше остановиться, – сказал Короваев, когда он и его сотоварищи свернули с большой дороги на проселочную, идущую между мелким кустарником березника.

– Э! Мы не богачи какие!.. Обглядимся, тогда и устроимся, – сказал Горюнов.

Мало-помалу стали редеть и кустарники. Наконец путников охватил резкий сильный ветер с левой стороны, и перед ними открылась широкая равнина. Это ровное место походило не на поле, а скорее на озеро, потому что справа и слева виднелись небольшие возвышенности, частью покрытые кустарником, а в середине равнины виднелась вода; в одном Месте даже рос тощий мелкий кустарник, и от него до какого-то места стояли столбы. Но не это заняло путников. Налево от дороги строилось много барок; там и сям пилили доски, обтесывали бревна; народ копошился, и воздух оглашался стуком топоров, шарканьем пил, дружными возгласами нескольких голосов враз: «Дернем, подернем...» Наши путники не сводили глаз с рабочих и, наконец, подошли к одной кучке.

– Бог на помочь! – сказал Горюнов.

Рабочие посмотрели на пришедших, не переставая работать, и ничего не оказали.

– Почем робите?

– По шести рублев в месяц...

– Маловато.

– И это слава богу. А вы не здешние, што ли?

– Как не здешние? Любопытно стало – вот и спросили.

– Есть тут чего любопытного!

И путники пошли.

– А эта работа нам не с руки... У нас тоже строят барки, да только от них много не поживишься! – проговорил Короваев.

– Я помекаю: нельзя ли мне тут какую выгоду приобрести, – сказал в раздумье Горюнов.

Мало-помалу перед ними выросло село, расположенное частью на низком, частью на холмистом месте; но виднелись только крыши и колокольни двух церквей, остальное же закрывалось рядом множества высоких столбов с перекладинами, насосов, варниц и высоких, в три яруса, амбаров.

Наши путники подошли как раз к промыслам, находящимся на берегу реки Дуги. По самому берегу, на невысоких, убитых деревом со сваями набережных стоят огромные соляные амбары; на воде стоят затянутые льдом два парохода, несколько судов и готовых уже барок или барок строящихся; между амбарами и набережными везде едут или с дровами, или с порожнями дровнями. Далее, внутрь от амбаров, идут длинные лестницы к варницам; между ними стоят насосы, а расстояния между лестницами и насосами заняты дровами, бревнами, досками, кирпичом. Здесь рабочих почти не видать; но зато здесь пахнет серой, и, несмотря на холод, кое-где с насосов и крыш сочится рассол и сосульками отваливается на сырой снег.

Походили путники по варницам, высмотрели все, что им позволили посмотреть, и, между прочим, узнали, что и здесь рабочие перебиваются кое-как, и здесь плата за труд небольшая, и поэтому редкий рабочий не находится в долгу у тех, которые нанимают его работать.

– Везде, верно, одно, – сказал Короваев.

– Посмотрим. Земля-то не клином сошлась, – заметил Горюнов.

– Коли у тебя денег много – можно весь свет, пожалуй, обойти.

– И не ходи! – сказал Горюнов, обернувшись к Короваеву»

Прошли они церковь; недалеко от церкви увидели постоялый дом. На постоялом никого теперь не было, и хозяйка очень обрадовалась, что к ней пришло много гостей.

– Ну, что ты с нас возьмешь за постой? – начал Горюнов.

– А долго вы проживете?

– Не всё же мы у тебя будем жить... Мы надолго пришли сюда, своим домком надо будет заводиться.

– Что ж, дело хорошее. Прежде у нас все свои робили на промыслах, а после воли столько наехало заводских, что беда! Есть даже и такие, кои и дома себе настроили.

– Ишь ты!

– Ей-богу! Только народ – собака, нашим промысловым не уступит: наш-то еще думает, как бы ему мешок с солью утащить, а тот уж этот мешок уташил. Право!

– И всем дело есть?

– Теперь помене стало, потому с волей господ крепко прижались: где бы нужно все варницы пустить, а они только четверть. Оттого и соли помене, и рабочим мало дают. Теперь-то мало работы; а то весной и бабам много работы.

После обеда молодежь, в том числе и Пелагея Прохоровна, улеглась спать, а Короваев с Горюновым пошли в село.

– На постоялом-то дворе невыгодно жить, Терентий Иванович, – сказал Короваев Горюнову.

– Надо будет поискать квартиру.

– Только я с вами жить не буду.

– Это дело твое, а я тебя не неволю. Только мы с тобой еще походим, поглядим, что за народ здесь.

Отправились они в харчевню. Там четверо мастеровых пили чай.

Короваев и Горюнов сели к столу, недалеко от мастеровых.

– Ежели мне теперь Усольцев не заплатит, я его камнем.

– Ну, не горячись. Уж ты эту песню давно поешь!

– Не веришь?

– А помнишь, как он с Агашки-то платок содрал, как ты расхотелся? И ничего!

– Агашка сама с ним разделалась.

– Полно!! Агашка, известно, поругалась-поругалась, да и только. А што наша ругань? Нет, ты бы его смазал хорошенько.

– Я его с лестницы!

– Дурак! С лестницы спустишь – в острог попадешь! Не так ли? – спросил мастеровой, обращаясь к Короваеву.

– Чево и говорить.

– А вы не здешние? Видно, на работы пришли?

– Да.

– То-то!

– Ну, и обожглись, значит. Заводские?

– Заводские. Только жить-то там нельзя: покосы и дома отняли; совсем разорили.

– Скверно. А все ж на одном месте лучше, я те скажу, потому всё свои, свои и выдадут, и выручат. Так ли?

– Это так. Только больно неприятно, когда есть нечего.

– Полно-ко! Коли бы жрать нечего было, не пил бы чай...

– Это можно себе позволить. Иной последние деньги на водке пропивает.

– Дело, братец, говоришь. Каким же ты ремеслом думаешь заняться?

– Да надо приглядеться. Я столяр.

– Барин!

– Почему барин?

– Потому что тяжелой работы не знаешь, с господами знаешься. С такими людьми мы компанство не водим; а потому – дабы повелено было, не доводя до греха, убираться вашему брату, стругалу, подобру-поздорову! – И мастеровой подошел к Короваеву.

– Однако ты, видно, по гражданской печати обучен? – проговорил, смеясь, Короваев.

– А это видишь? – сказал мастеровой, показывая черный кулак.

– И свои имеем.

– Тебе говорят – уходи, потому эта харчевня наша: здесь все промысловые, с Поносовского промысла.

– Чем же мы вам мешаем?

– Мешаете, да и все тут.

– Послушайте! Уходите добром... Наши скоро придут; их много: их не заговоришь и не переборешь.

Короваев и Горюнов не шли.

Мастеровые стали шептаться. Немного погодя один из них вышел.

– Понимаешь? – сказал шепотом Короваев Горюнову.

– Гармонийку-то я забыл, вот што скверно! – отвечал Горюнов.

Вдруг в харчевню вошло человек пять рабочих. У двоих за кушаками были засунуты сырые серые мешки, остальные ничего не имели при себе.

– Где? Эти?! – крикнул дюжий рабочий и подошел к Короваеву и Горюнову, которые держали в руках блюдечки с чаем.

– Кто вы такие? – крикнул рабочий, уперши руки в бока и разодвинув ноги.

Остальные окружили стол, за которым сидели Горюнов и Короваев.

– А ты из каких, из полицейских? – спросил Короваев, поставив блюдечко.

– Из полицейских.

– Ну, так иди туда, откуда пришел!

– Ты зубы-то не заговаривай, а коли тебя турят (гонят), так пошел! – проговорил другой рабочий.

– Никто меня не волен гнать, потому я такие же деньги плачу, как и все.

– То-то, не такие. Афанасьич не возьмет с вас того, што он с нас берет.

– Известно. С ненаших всегда вдвое, – сказал хозяин харчевни и захохотал.

– То-то и есть. Вы должны быть благодарны, что мы вашему хозяину барыш доставили. Не приходи бы таких дураков, как мы, – пришлось бы закрывать заведение.

– Ох ты, осел!.. Много ты передашь!.. Хороший человек водку берет, а то пришли, взяли чаю на гривенник, да и сидят целый день! – проговорил хозяин и подошел к столу.

– Эй! кто из вас водку пьет – угощу! Знай терентьевского Горюнова! – сказал Горюнов вставши, – и сделал такую гримасу, что все смотревшие на него захохотали.

Скоро явился полуштоф; по выпитии из него по стаканчику рабочие уже не ругались с терентьевцами, а дружно разговаривали.

От них они узнали, что соляные промыслы находятся в трех селениях, отстоящих в недалеком расстоянии одно от другого, – Моргунове, Притыкине и Демьянове. Из них первые два принадлежали пяти разным владельцам, а Демьяново – казне. Сами господа никогда не жили в своих селах, а некоторые из них даже и не бывали в них. Они жили или за границей, или в столицах, и поэтому всеми делами заправляли управляющие с приказчиками, которые были или местные купцы, или отставные чиновники, и обращались с рабочими, как настоящие господа. Но этих господ рабочим приводилось видать на промыслах очень редко, раз или два в год; настоящими же хозяевами были смотрителя, нарядчики и тому подобная мелюзга, которая из каждого рубля, из каждой рогожи или куля старалась приобрести в свою пользу копейку. Они обсчитывали рабочих ежедневно; жалобы на них не принимались или оставались без уважения, и если, несмотря на это, рабочих всегда много было на промыслах, так потому только,

что им нечего было есть; куда ни пойдешь, все работы находятся в руках этих пиявиц, например – постройка барок, судов, караулы, очистка льда и т. п.; даже торговлю всю они забрали в свои руки. Из всего этого Горюнов вывел то заключение, что ему здесь ничего не приобрести, и крепко призадумался.

Печальные вышли из харчевни Короваев и Горюнов: не того они ждали здесь. Им хвалили промысла.

– Надо попробовать, – сказал Горюнов.

– Нечего тут и пробовать, – проговорил сердито Короваев.

– Што ж делать-то?

– А я думаю идти в другое место. Пойду в М. завод. Если там не повезет на столярном ремесле, я буду пушки лить.

– Полно-ко, Влас Васильич!

– Это будет вернее... Говорят, там дают семьдесят пять копеек поденщины.

– Враки!

– Ну, а если не повезет там, и дальше пойду... Мне мастер Подкорытов сказывал, что, кроме Петербурга, нигде нет таких мест, где бы можно хорошо заработать деньги одинокому человеку. Только идти туда далеко.

– И все-таки твой мастер нажился на гранильной фабрике, не в Петербурге...

– Што ж ему было делать, когда он был сослан туда?

– Как знаешь, а я здесь останусь... Попробую.

Домой они пришли часу в девятом вечера. Григорий, Панфил и Пелагея играли с хозяйкой в карты у зажженной лучины.

– Ну уж и село... Дрянно, говорят, – сказал Горюнов.

– Кто это сказал? Небось мастерки! О, они никому добра не пожелают, – сказала хозяйка, сдавая карты.

– Да это и видно. Самые строения, что есть, нисколько от наших домов не отменились. Да вот мы давеча шли, почти на каждом углу нищий.

– Стоит на это обращать внимание; известно, нищий – лентяй!

– А если он на костылях?

– Мало ли их вон пьяных: зимой, как обрубки какие, на улицах валяются. Поневоле не только ноги, а и руки отморозишь.

– А я, Пелагея Прохоровна, завтра в путь, – сказал Короваев, обращаясь к Пелагее Прохоровне.

– Куда? – крикнули Григорий и Панфил.

Лицо Пелагеи Прохоровны побледнело, и она не могла ничего выговорить.

– Пойду в М. завод.

– А как же ты все тараторил: в Моргунове хорошо, лучше Моргунова другого места нет... – сказал Григорий Прохорыч.

– Мало ли что говорили мне люди.

– Попросту скажи: с вами, мол, не хочу вместе робить, – сказала Пелагея Прохоровна изменившимся от внутреннего волнения голосом.

– Ну, это еще не доказано, – сказал Короваев и стал укладываться на лавке.

Хозяйка спросила, будут или нет они ужинать. Ужинать никто не хотел. Всем было не то скучно, не то неловко. Горюнов курил трубку за трубкой; Короваев лежал на лавке и что-то соображал, часто перебирая пальцы; Григорий и Панфил лежали на полотах на животе и, глядя на Пелагею Прохоровну, старались рассмешить ее. Пелагея же Прохоровна складывала желтый платок, который у ней в дороге был надет на голову. По этому складыванию заметно было, что у ней мысли не в порядке.



«Это он нарочно уговорил дядю идти сюда, чтобы потом самому легче уйти в другое место. Он знает, что дядя уж не пойдет в другое место. Он и прежде такой был: все бы ему лучше, все особенно от других робил... И деньги большие имел... И теперь у него должны быть деньги, потому он хотел раньше на волю откупиться, только, говорит, деньги сестра украла. Врет! Нет, он боится, чтобы мы у него не попросили денег. Должно быть, дядя просил у него денег».

И она вызвала дядю на крыльцо.

– Дядя! Ты не просил ли у Короваева денег? – спросила она Горюнова.

– С какой стати я у него буду просить денег, – сказал тот сердито.

– Я думаю, он боится, чтобы мы не попросили у него денег, потому и идет в другое место.

– То-то ты, баба, не в свое дело вмешиваешься. Иди лучше спать, а завтра пойдем в варницы, может быть, какую-нибудь работу достанем. – И Горюнов ушел в избу.

Пелагея Прохоровна успокоилась немного. Она знала, что дядя хотя и прикидывается дураком, но всегда говорит правду. И ей стало досадно, что она до сих пор так много думала о Короваеве, который, как надо полагать, о ней вовсе не думал, потому что если бы он думал о ней, то не сказал бы ей, что идет отсюда в другое место, не проживши здесь даже и суток. И сказал-то как, точно он куда-нибудь в лавку или на улицу уходит. А она считала его за своего человека; он ей нравился, человек молодой, высокий, степенный, непьющий, работающий...

И как ни старалась Пелагея Прохоровна успокоить себя, а заснуть не могла долго: Короваев разобидел ее.

«В самом деле, што я о нем думаю? Он мне чужой, и я ему чужая. И што я сержусь-то на него? Мало ли кто нравится, да я-то ему не нравлюсь».

Пелагея Прохоровна ворочалась с боку на бок, так что полати скрипели. Дядя и братья ее храпели.

– Оказия!.. Это оттого не спится все, что даве спала... – проговорила шепотом Пелагея Прохоровна.

– Не спишь? – произнес негромко Короваев.

Пелагея Прохоровна притаилась, то есть старалась не шевельнуться, не вздохнуть тяжело, чтобы Короваев думал, что она спит.

«Погоди!.. Коли ты гордец, и я буду такая», – подумала Пелагея Прохоровна.

– Не спишь, говорю? – произнес так же негромко Короваев.

«Ладно!» – подумала Пелагея Прохоровна, улыбаясь. Но через полчаса она уже сожалела о том, что не отозвалась на голос Короваева, а потом, пораздумавши, пришла опять к тому заключению, что хорошо сделала.

«Если он хочет говорить со мной, отчего он не говорит днем?.. Ишь, нашел время! Проснется дядя или который-нибудь из братьев, што они подумают? Ему ничего, а мне каково?.. Может, он при них не хочет говорить...»

Тут припомнились ей сцены с писарем, который старался как-нибудь поговорить с ней наедине; припомнилась ей сцена, как писарь ползл с ней гряды в огороде. Сперва на другом конце гряды был, а потом мало-помалу все приближался к ней, полз, полз – да и обнял ее... Посмотрела она после на грядку, писарь только вид делал, что он выдергивает траву, потому что травы нисколько не выдернуто.

«Ну, так зато тот был жених. Тот раньше говорил мне, что он жить без меня не может».

Так всю ночь и не спалось Пелагее Прохоровне. В четыре часа поднялся Короваев. Ночь была лунная, и луна хорошо освещала избу. Короваев одевался. Пелагее Прохоровне хотя и хотелось спать в это время, но она вышла во двор, чтобы ей не спать. Она сама не могла хорошенько понять: зачем ей нужно прощаться с Короваевым...

Вышла она во двор. Во дворе, крытом навесом, было темно, хоть глаза выколи. Наткнулась она на что-то, уперлась и заплакала.

Одно только она думала, что несчастнее ее нет женщины. С детства она не видала светлых дней, с мужем было еще больше горя, и, только живя у Короваева, она отдохнула немного, а потом опять пошла тяжелая жизнь... Не с кем ни поговорить хорошенько, не с кем посоветоваться как следует, никто не приласкает ее.

– Палагея Прохоровна! Ты где? – услышала она голос Короваева.

Слезы более прежнего пошли из глаз Пелагеи Прохоровны. Она рыдала.

– Ну, о чем ты плачешь, Палагея Прохоровна? – проговорил Короваев, ущупав в темноте Пелагею Прохоровну.

Пелагея Прохоровна очнулась. Ей и стыдно, и досадно сделалось, что ее поймали на месте, в слезах.

– Тебе што за дело? – проговорила она неровным голосом.

– Может быть, и есть дело... Ведь я слышал, што ты не спала всю ночь.

– Потому и не спала, что кусали.

– Полно-ко, Палагея Прохоровна... Однако вот что я тебе должен сказать один на один. Тебя я знаю давно, и ты меня знаешь... Палагея Прохоровна... Пошла ли бы ты за меня замуж?

– Вот уж!.. – сказала Пелагея Прохоровна, не зная, что сказать в эту критическую минуту.

– Скажу тебе одно, что теперь я не могу жениться, потому что у меня ничего нет, кроме пилы да долота. Теперь я пойду добывать себе капиталы, и если бог мне поможет да ты не выйдешь замуж, тогда... А до той поры – прощай... Дай мне руку... – Голос Короваева дрожал; он говорил, точно у него давно накопело в душе.

Когда Пелагея Прохоровна протянула ему руку, он крепко пожал ее и сказал:

– Твой дядя едва ли долго проживет здесь... Он думает идти на золотые, но я тебе идти туда не советую... Здесь будет лучше, потому что здесь и бабы работают... Подожди с месяц, а я поживу в М. и перешлю тебе в варницы с кем-нибудь весточку о своем житье. Прощай! – Короваев пожал крепко руку Пелагеи Прохоровны, выпустил ее и пошел к калитке.

– Ты уж разве совсем? – спросила с испугом Пелагея Прохоровна.

– Совсем. Кланяйся дяде и братьям... Там, на столе, я оставил хозяйке деньги за постой. Последние слова Короваев говорил уже на дороге.

Пелагея Прохоровна остановилась в калитке и стала смотреть на Короваева, который, мерно и широко шагая, удалялся все дальше и дальше от нее и, наконец, скрылся в переулке.

Грустно сделалось Пелагее Прохоровне, голова ее отяжелела, слезы душили ее.

– Кто тут стоит? – крикнула грозно хозяйка с крыльца.

– Это я... – сказала, едва оправившись от испуга, Пелагея Прохоровна и заперла калитку.

– Чего ты тут торчишь?

– Товарища нашего проводила – Короваева.

– Как? Да он мне деньги не заплатил!

– Он на столе оставил... Будить тебя не хотел.

– Што меня будить, когда я всегда в это время встаю.

Хозяйка зажгла лучину и, удостоверившись, что на столе действительно лежат медные деньги, подобрала их.

В это время Горюнов проснулся и через минуту сел, спустив ноги с печки.

– Ушел? – спросил он с удивлением и полуиспугом.

– Ушел совсем, – сказала Пелагея Прохоровна.

– И хорошо сделал.

И Терентий Иваныч слез с печки.

Пелагея Прохоровна долго думала над словами дяди, но спросить его не решалась; однако он сам разрешил их, сказав хозяйке, что, разошедшись, они не будут мешать друг другу и сойдутся вместе там, где отыщут хорошее житье.

#### **IV. Горюновы поступают в рабочие на промысла и опять встречаются с полесовщиком**

С рассветом Горюнов с племянниками вышли из постоялого дома. Горюнов сказал им, что надо искать квартиру, потому что в постоялом доме жить невыгодно, и нужно присмотреться к селу, которого они еще не знают. Пришли они на промысла; там работы были только в варницах, да и то половине рабочих нечего было делать, почему одни из рабочих отскабливали снег от дверей, другие починивали сапоги. От них они узнали, что работа бывает временно, и тогда народу требуется много; а в такое время, как теперь, работы едва хватает и на сельских жителей, потому что варницы не все пускают в ход в одно время.

– Вам лучше приделиться помесياً, потому тогда все же какая-нибудь работа будет. Только надо смотрителю взятку дать, – советовали рабочие Горюновым.

– А сколько он положит жалованья?

– Да глядя по человеку, как понравится. Попробуйте – может, он и примет... На него полоса приходит, ино время примет, в другое нет. Вон он у той варницы с саженью ходит.

Горюновы выждали, когда смотритель смерил поленицу, отпустил возчиков и пошел к насосу. Горюновы подошли к нему.

– Почтенный!.. – начал Горюнов.

Смотритель обернулся, оглядел Горюновых.

– Мы слышали, у тебя работы есть.

– Ну? – промычал сурово смотритель.

– Почем ты платишь в месяц?

– Это зависит от того, кто что делает и как делает. Только теперь на моих варницах полный комплект. Хотите даром?

– Кто же даром работает?!

– Ну, и убирайся...

И смотритель пошел.

Зол сделался Терентий Иванович. Злило его то, что ему хвалили Моргуново, и вдруг там нельзя найти работы, а если есть, то за нее нужно платить.

Однако Горюнов решился сходить в квартиру смотрителя.

Смотритель жил недалеко от варниц и занимал целый дом в несколько комнат. Горюнов вошел в прихожую, где мальчик годов двенадцати чистил сапоги. Ему пришлось простоять часа два, до тех пор, пока смотритель не вышел в прихожую, затем чтобы надеть тулуп и идти.

– Мне бы по секрету надо поговорить с твоей милостью... – сказал Горюнов и сделал гримасу, которая вызвала улыбку смотрителя.

– У нас нет секретов.

– Видишь ли: я все могу делать, могу и за рабочими смотреть.

– Э! какую ты несешь песню. Да ты знаешь ли порядки-то наши?

– Долго ли узнать: я сам заводский человек, и учить меня нечево... Я и подарить в состоянии вашу милость, если должность будет хороша.

– Однако ты метишь-то ловко! Ну да ладно, приходи послезавтра и приноси двадцать пять рублей. Если найдется место – назначу, нет – подожди.

– А позволь спросить: сколько жалованья?

– Да жалованье казенное: есть и семьдесят два рубля в год, и пятьдесят четыре рубля, меньше тридцати шести нет.

Смотритель вышел, за ним вышел и Горюнов, думая, как это можно жить на такое жалованье. «Значит, воровать нужно, – думал Горюнов. – Но что воровать? В чем состоит та долж-

ность, за которую нужно дать смотрителю деньги? Если эта должность приносит большой доход от расчетов с рабочими – бог с ней... Лучше я на золотые тогда пойду прямо».

Два дня потом Горюновы присматривались к селу. Хлеб, мясо и прочие продукты были здесь дороже терентьевского; народ отличался от терентьевского большею плутоватостью, и здесь труднее было сбыть вещи вроде железа и чугуна. Квартиры Горюновы не находили, потому что сторонние дома были заняты семейными рабочими, а в порядочных домах, где жили небольшие семейства, просили дорого. Хозяйка же постоялого двора стала притеснять их за то, что они не стали брать у нее кушанье, и запросила вдруг за постой по пяти копеек с человека в сутки, без права пользования полатами и печкою, да и у нее в это время стояли возчики, которые, впрочем, только обогривались и скоро уезжали. Эти возчики были жители соседних селений, и дальше своего места они ничего не знали. Поэтому от них Горюнов ничего не мог узнать для себя полезного.

Горюнов явился к смотрителю в назначенный день.

– Ну, место я для тебя нашел, давай деньги.

– Назар Пантелеич, я человек пришлый, издержался дорогой.

– Запел! Эти пески мы знаем. Ну, да, впрочем, мы после сочтемся. Ты только дай мне расписку и свой билет.

Горюнов отдал свой билет смотрителю.

– Ты будешь наблюдать за вываркой соли и за тем, чтобы рабочие не таскали соль с варницы. Вот твоя варница: седьмой номер.

Смотритель ввел Горюнова в варницу, сказав рабочим, что он отказал Яковлеву и что они должны теперь слушаться Горюнова.

– Каждый день ты мне должен представлять отчет: сколько под варницу брошено дров, сколько в ходу было лошадей, ребятишек, – и чтобы соль была в исправности.

Итак, Горюнов был принят в варницу уставщиком с платою в год по усмотрению смотрителя варниц. Условия между Горюновым и смотрителем заключено не было.

Племянники и племянница пошли тоже в варницы. Им полагалась плата поденно, как и прочим рабочим, которые получали за двенадцать часов двадцать копеек. Но так как в варнице был полный комплект рабочих, то рабочие изъявили Горюнову свое неудовольствие.

– Ну, братцы, как-нибудь... Покажем, што нужно было больше рабочих, – говорил Горюнов.

– Нечего тут и показывать, когда Назарко и так обделивает рабочих.

– Ну, у меня не обделит. Много будете мной благодарны.

Рабочие в первый день долго смеялись над Горюновым, который в соляном деле решительно ничего не смыслил. Так, например, он чуть не задохся от дыма, который шел из-под ямы, над которой сделана четырехсаженная квадратная цирень, или, по-промысловому, скворода. Дымоотводных труб от этой ямы сделано не было, и поэтому дым расстилался облаками по всей варнице и потом уходил в отверстия, сделанные в крыше варницы. И хорошо еще, что рабочие были хорошие, знали дело как следует, и Горюнову не нужно было понукать и указывать. По их понятию, Горюнов здесь был совсем ненужный человек, и если он терся около кого-нибудь, то ему советовали идти спать, а не мешать. Племянникам его и Пелагее Прохоровне ничего не давали делать; но так как они мешали им, то и заставили их кидать в печь под цирень дрова, что им на первый раз казалось очень тяжело, – во-первых, потому, что им приводилось бросать полторааршинные поленья, а во-вторых, у печи было слишком жарко. Смотритель навестил по вечеру нового уставщика и распек как его, так и рабочих за то, что в цирень было пущено очень много рассола.

– Што ты делаешь, разбойник! Вы-то што, олухи эдакие, делаете? Ах, беда! – кричал и бегал смотритель около цирени, наполненной рассолом.

Горюнов ничего не понимал, но, однако, сказал:

– Ну, да што ж такое?

– Ты што, спалить, што ли, хошь варницу? Ты знаешь ли, што как пустишь на привод, она вспыхнет? Понял ли ты это?

Горюнов почесал затылок.

Ночью варницу пустили на привод, то есть прекратили топку, заперли варницу и печь закрыли, для того чтобы соль из густого и горячего рассола осадилась. В таком положении варницу оставляют на двенадцать и шестнадцать часов. Утром Горюнов стал проситься в село, так как у него не было хлеба.

– Оставь у варницы двоих для караула, а сам приходи часа через три, потому надо будет рассол, который прокипит теперь, на полати скидывать.

Горюновы вышли из промыслов. Они хотели идти на рынок за покупкою хлеба на остальные деньги, но с ними встретился тот самый полесовщик, с которым они виделись недалеко от села. Он нес на спине три пары глухарей.

– А! знакомые! Што, уж робите? – спросил он.

– Меня в уставщики взяли, – сказал Горюнов.

– Сколько взял?

– Просит двадцать пять, да я еще не дал ничего.

– Смотри, брат, не плошай! Он уставщиками как лошадьми меняет. Где вы живете?

Горюнов сказал, что еще не нашел квартиры.

– Э! Ты бы меня спросил, когда мы встретились на большой дороге. Хошь у меня жить? Я к своей избенке пристройку сделал для сына, да он помер, дай ему бог царство небесное!

Полесовщик начал рассказывать про умершего сына, который был и силен, и умен, и красавец. Против его сына не было во всем селе такого зубоскала и насмешника. И к работе он был прилежен, и случалось, что прокармливал все семейство, когда отец и мать хворали. И совсем было парень чуть не женился на первой заводской красавице, да бог его знает, отчего с ним такая притча случилась: осенью он плыл на лодке, в которой было два мешка с солью. Плыл, как и всегда, как ни в чем не бывало, ночью, – и вдруг наплыл на кол. Засела лодка на колу, ни вперед, ни назад; вертится во все стороны, хоть ты што хочешь делай! Встал Никитка, лодка и перевернись. Очутился Никитка в воде, думал стать, да ногами дна не мог ощупать. А лодка перевернулась, набои зацепляются за кол, место быстрое, вода бурлит, дует резкий ветер, льдинки маленькие так и стучат об лодку... Кое-как справился, сел в лодку и поплыл мешки разыскивать. Про соль-то уж он и не думал, мешков жалко было. Плавал Долго: ему кажется, будто мешок плывет, а то – льдинка. Все-таки один мешок отыскал. Ну, и захворал и дня через три помер...

– Ну, да чему быть, тому не миновать Все под богом ходим, – заключил полесовщик, утерев правый глаз кулаком.

– А вот дома-то я уж полторы недели не бывал. Мяса вовсе не едал, и глухари были, да жалко. Сожрать не долго, а пользы никакой не будет. Моя старуха привозила простокваши да хлеба, – питался славно... А тут и перестала. Ну, голод-то не тетка, плюнул на все и пошел.

Полесовщик повел Горюновых на рынок и проходил там около часу, потому что за глухарей не давали того, что он просил... Кое-как он продал их за тридцать копеек.

На рынке встретились с ним его приятели. Приятели эти были такого рода: они рубили воровски лес на дрова в соседней делянке и провозили дрова мимо полесовщика, которому и давали кое-когда что-нибудь. Приятели позвали его в харчевню выпить чаю, потому что они хорошо продали дрова. Полесовщик стал звать и Горюновых, те отговаривались тем, что им некогда.

– Толкуйте! Это смотритель для того велел приходить так рано, чтобы дать вам за ту же все цену другую работу.

И приятели полесовщика тоже стали приглашать Горюновых для компании. Они пошли.

В харчевне никого не было, кроме хозяйки, молодой женщины, которая, как пришли посетители, спала, сидя на лавке и положивши голову на руки, которые лежали на столе. При входе посетителей она проснулась.

– Вот она лень – продать ее на ремень! – проговорил один из приятелей полесовщика.

– Никого нету, – скука, я и заснула, – проговорила хозяйка, широко зевая.

– Али мужа-то нету?

– А штоб ему поколеть! Вчера утром приехал из Демьянова пьяный-препьяный и давай драться... Кое-как скрутила его, привязала за голову да за ноги к кровати, – уснул. Пробудился, – я ему косушку поставила... Ну, думаю, поправился человек, пошла на рынок. Прихожу, а он, штоб ему чирей в горло! – сидит пьяный у стола, а на полу перед ним разбитая бутылка валяется...

– А какой славный был мужик!.. – дивились приятели полесовщика.

– Ну уж... Никакого удовольствия не может доставить! Што это за муж!

Приятели угостили полесовщика водкой и сами выпили. Горюновы не принимали никакого участия ни в разговорах, ни в угощении. Мужчины закурили трубки: хозяйка подозвала Пелагею Прохоровну, расспросила все и стала ей изливать свое горе. Горе, по ее рассказам, заключалось в том, что харчевню она открыла на свои деньги, а так как ей одной трудно управиться со всем без мужчины, – как, например, купить водки, – а братьев или свободных родных у нее нет, то она и согласилась выйти замуж за товарища детства. Но он ее обманул, потому что и не любит ее, и ленив, и пьяница.

– Думаю-думаю, мать моя, как бы мне лучше сделать, – ничего не выходит! А если эдак все будет, пожалуй, в долги войдем. А у нас, я те скажу, стоит только раз попасть в долги, так запутаешься, что не приведи бог. Наше дело такое, что займовать приходится не копейками, а рублями... А если взял рубли, так говорят – отдай в срок, да все сполна, а не то и опечатают, а потом и потянут к посреднику на расправу: тот и приговорит работать на того, кто деньги дал... Так заведение и перейдет в чужие руки. А будь-ко бы помощник хороший, мужчина, – не то бы было.

– Ты бы наняла.

– Наняла? – хозяйка покачала головой и прибавила: – вот и видно, што ты еще мало мытарств прошла. Вон мужики знают меня.

– Как не знать, Степанида Игнатьевна! Давно знаем и дивимся твоему уму-разуму. А дай-ко нам еще по стаканчику.

Выпили еще по стаканчику.

– Ах, кабы да воля была! Срубил бы я дерево! – сказал полесовщик, отчаянно ударив кулаком об стол.

– А ты и сруби – кто тебе не велит.

– Нельзя, – дерево приметное.

– А ты сруби, да и скажи: ветром, мол, сломало.

– Не то вы толкуете... А это дерево у меня как бельмо на глазу. Много оно мне причинило горя. Вот хоть бы, к примеру, сыну помереть, так што бы вы думали? Как ночь – оно и выть. Ей-богу!

– Может, там клад какой есть?

– Копал. Хоть бы камень.

Начался разговор о кладах. Рассказывали, как один мастеровой, копая яму для погребушки, вырыл чугунок старинной формы с старою золотою монетою. Взял да и объявил начальству, потому что был дурак; начальство куда-то представило монеты. Так ничего и не получил мастеровой, а только после этого помешался – весь огород изрыл, так что огород ни на что не стал годен.

– А вот так на золотых рабочие лучше поступают...

– Как?

– Промоет золото – золотников десять – и завяжет в тряпку, а как идти с приисков, и заткнет его... Да! Такие, братец ты мой, есть богатеи, – чудо! Дома какие настроили!

– Это где же? – спросил Терентий Иванович.

– В наших местах. Под одного мужика начальство долго подкапывалось, – ничего не могло сделать; и угрозы не подействовали. Вишь ли! Он дом большой в селе имел: внизу сам жил. Ну, и постоянный двор держал. А сперва куда как беден был. Ну, начальство думает: на какие капиталы наш мужик разжился? Соседи тоже удивляются и завидуют. И земли много приобрел и деньги вносит без принуждения. Только в город ездит и там подолгу живет. Раз даже становой обыскать его велел среди дороги. Так, братец ты мой, он губернатору жаловаться стал, станового и сменили. А тут, слушаем, вдруг говорят: он фальшивые деньги делает, потому что у него нашли фальшивый золотой в пять рублей. Ну, и посадили в острог, а потом в городе плетью драли... И человек ни за что погиб! А погиб он потому, что ему какой-то раскольник дал вместе с золотом и монету. Хотя он и говорил, што нашел монету, однако его и драли, и били, и есть не давали, чтобы он сознался, што сам делал деньги... Однако говорили, што он убежал еще до каторги, и где теперь – неизвестно.

– А надо бы попытаться на приисках.

– Я бы непременно пошел, кабы не ребятишки.

– И с ними можно.

– Ну, нет. Надо сперва самому попробовать: если хорошо, и семейство взять, а худо – наплевать.

Посетители вышли из харчевни, и приятели расстались с полесовщиком и Горюновыми.

Полесовщик пошел рядом с Терентием Ивановичем. Оба шли сперва молча, полесовщик первый проговорил:

– Охо-хо! Жизнь она – жизнь!

– Што и говорить.

– Верно, нашему брату, мужику, нигде нет счастья?

– Ну, это еще надо изведать.

– Изведать! Хорошо тебе говорить, коли у тебя нету жены и ребят... Ты встал да и пошел!.. А я на твоём месте, ей-богу бы, на золотые пошел.

– Да я и думаю.

– Ах, кабы я один был! Уж давно я об этом предмете думаю! Эх, горе, горе! Вот теперь только и есть всего капитала, што тридцать копеек... А срублю же я это дерево, будь оно проклято! – заключил с отчаянием полесовщик.

## V. Семейство полесовщика

Дом полесовщика, Елизара Матвеича Ульянова, ничем не отличался от прочих домов своею наружностью: такой же высокий фундамент с высокими завалинами на случай потопа, то есть разлития рек Дуги и Ульи, идущей мимо дома Ульянова и впадающей в Дугу верстах в двух от его дома; так же высоко от завалин сделаны в доме два окна, находящиеся друг от друга на расстоянии одной сажени, из которых одно выше другого целым пол-аршином. Одним словом, наружный вид дома свидетельствовал, что хозяин его был человек практический, и если сам не испытал неприятности, причиняемой разливом рек, то видал по крайней мере это. Внутри дом имел избу с печкой и полатами и горницу с одним окном, выходящим на реку, с лежанкою без тепла, устроенною потому, что все промысловые так устраивают, и потому еще, что кирпич некуда было девать. Две стены в этой горнице оклеены бумагой, третью еще только начали оклеивать, да бумаги не хватило. В горнице стоит крашенный стол, два стула простой работы, тоже окрашенные; на окне стоят два горшка, из коих в одном растет лук, а в другом красный перец, а на шкафчике, стоящем в углу против дежанки, стоит самовар, покрытый большою тряпицею.

У Елизара Матвеича было, кроме жены Степаниды Власовны, четверо детей, из коих дочери Елизавете теперь шел восемнадцатый, а самой меньшей дочери, Марфе, – четыре года.

Принадлежа помещику, Елизар Матвеич рано был взят на работу. Управляющий имением и людьми, думая угодить помещику и стараясь сам со временем сделаться солепромышленником, так сказать, выжимал весь сок из крепостного человека. Мало того, что заставлял мужчин работать без отдыха, он требовал, чтобы и бабы, девки и ребята не шалберничали дома, а были на промыслах, и если на промыслах его хозяина не было работы для всех, то работали бы по найму для других управляющих, преимущественно его тестя. Работая на варницах, Ульянов ничего не нажил. Правда, жена принесла ему в приданое самовар, но чай он пил только в самые большие праздники, и то для того, чтобы не отстать от товарищей, которые все-таки считали себя почему-то выше горнозаводских людей, хотя и разнились от них только родом занятий да свободным обращением с мелким начальством, которое сильно трусило рабочих, потому что бывали примеры такого рода, что одного зрителя столкнули в амбар, где он и задохнулся в соли; другого начали качать для того, чтобы бросить в ад, или печь под циренью; третьего хотели сварить с рассолом... Ульянов, как и прочие, жил день за днем, не сыто и не голодно, и поэтому у него даже и праздников не бывало, то есть праздники или свободные дни хотя и были, но ему не было весело, и если он пил водку, пел песни, так потому, чтобы не отстать от товарищей и показать, что и он промысловый рабочий... А тут пошли дети, с детьми увеличились еще более прежнего нужды, но все-таки хозяйка его умела управляться так, что дети не умирали с голоду. Провиант, то есть мука, получаемая за работу мужа и ее, шла для еды, а то, что давала корова, шло в продажу; а хотя Елизар Матвеич и делал берестяные бураки, лубочные наберухи, лукошки, но за них давали очень мало, потому что мастеров этого рода было в селе много. Пашен промысловым рабочим не давали, покосы были небольшие, и сена с них едва-едва хватало для коровы.

Когда же Елизар Матвеич поступил в полесовщики – по протекции его жены, которая носила лесничему молоко и, как толковали злые бабенки, имела с ним любовную связь, – тогда для Елизара Матвеича настала другая жизнь. Дело в том, что назад тому десять лет лесу было так много в дистанции Елизара Матвеича, что он называл его непроходимым; на этот лес все, начиная от лесничего и кончая сторожем, смотрели как на доходную статью, потому что никому и в голову не приходило, что от порубок лес будет сперва редеть, а потом и совсем исчезнет. Лесничий заставлял лесных сторожей рубить для него лес на дрова и бревна, заставлял строить ему дом, помощник его тоже – и т. д.; сторожа знали, что начальство не стеснясь продает лес, а



потому и сами распоряжались деревьями по своему усмотрению. Годов шесть Елизар Матвееч блаженствовал: в будни носил ситцевые рубахи, к каждому воскресенью дома варилось пиво, но Елизар Матвееч не хотел пить пиво: ему нравилось сидеть в харчевне или в кабаке за косушкой сивухи с веселой компанией, от которой он узнавал новости и происшествия, случившиеся в его отсутствие; у жены его было две коровы, много гусей, уток и куриц; в большие праздники супруги не садились за стол без пирога с просоленным сигом и без жареного поросенка; дети ходили не оборванные. И деньги водились как у мужа, так и у жены, которая хорошо работала на промыслах, или, вернее сказать, от скуки и от нечего делать проводила там целые дни. Одно только не нравилось тогда Елизару Матвеечу, что в кордоне находилось двое полесовщиков, которые чередовались понедельно, отчего Елизар Матвееч говорил, что его товарищ собирает его доходы в свою пользу. Но и тут, по просьбе его жены, прогнали другого полесовщика, и он остался один. Но в это время лесу уже стало меньше; начальство стало строже; чаще и чаще оно стало придирается, а раз даже лесничий приказал дать ему двадцать пять розог за то, что он недосмотрел, кто стравил в просеке межевой знак со столба, хотя Ульянов и знал, что знак стравлен по приказанию того же лесничего. Доходишки все-таки были, потому что чем строже лесные сторожа, тем лесоистребление и кража идут успешнее и ловчее, а стало быть, и плата за пропуск мимо Кордона дров и бревен увеличивается. Напоследок, однако же, доходы стали уменьшаться, и хотя он был и один на кордоне, но ловить было некого, так как крестьяне и мастеровые предпочитали удобнее и выгоднее производить порубки в других местах. С приездом нового лесничего, из молодых и ученых, трудно было пожить чем-нибудь. Дистанция была размерена на площади, в каждой площади деревья сосчитаны, выправлены столбы. Теперь и для себя было опасно рубить лес, и если Ульянов крепко нуждался в деньгах, то со страхом и трепетом принимался за рубку, часто останавливаясь и прислушиваясь то к эху, то к шелесту листьев. К счастью его, новый лесничий не заглядывал уже больше в лес. Только раз перепугался Ульянов: наехали землемеры, натянули цепи, наставили треножник, но и от них он отделался, угостив их селянкой из яиц и полштофом водки.

Трудно было отставать Ульяновым от хорошей жизни. Приходилось сперва закалывать уток и нести их на продажу, потом пришлось продать не только гусей, но и одну корову. Надеялся Ульянов на то, что его переведут в хорошее место за его честную службу, но не переводили. Износились ситцевые рубахи, пришлось покупать лен, чесать, прясть, белить нитки и ткать; дети выросли, в селе все подорожало, за труд детям давали мало; пришлось и лошадь продать, из боязни, чтобы ее не замучили в варницах, куда ее часто брали по требованию.

Но вот вышла воля. Объявили и Ульянову, что он теперь временнообязанный, и если хочет, то пусть остается полесовщиком за десять рублей в год. Подумал Ульянов с неделю, потолковал с приятелями – и остался, потому что ему нравилась уединенная жизнь, и он выдумал огаливать толстые деревья, растущие внутри дистанции, то есть обрубать толстые отростки на дрова и рубить тонкие деревья и кустарники. Времени у него было много свободного, и он эти отростки и кустарники рубил на дрова, которые и продавал. Кроме этого, он мог стрелять птицу, забираясь в чужие дистанции, доставать бересту, лыко, лубки на разные поделки. Но и это в последнее время до того оскудело, что он подумывал заняться каким-нибудь другим делом; однако выгодного и сподручного пока не находилось. Прежде на детей давали муку, и Елизар Матвееч радовался появлению на свете нового бахаря и горевал, когда этот бахарь проживал полгода или еще менее; но теперь он и четверым детям не рад, а что было бы, если бы у него все одиннадцать детей были живы! Хорошо еще, что Лизавета носит на промыслах соль и получает поденщину от пятнадцати до двадцати копеек, – но велики ли эти деньги, если работы на промыслах для баб и девок бывают раза четыре в месяц! А разве она на восемь гривен съест? Ей надо и одеться, и башмаки нужны, потому что она девушка-невеста, промысловая красавица, которой стыдно в люди показаться босою с грязными лапищами. Хорошо еще, что Степан работает на промыслах и получает от пяти до десяти копеек в день, – все же хоть

сам себя кормит и таскает матери кое-когда сальные огарки, и мать его имеет от них кое-какую выгоду. Но еще двое детей у Ульянова: Никиту отец давно бы пристроил куда-нибудь, да он какой-то хилый, точь-в-точь как чахоточный лесничий, а Машка еще недавно только бегать начала.

Когда Ульянов вошел в избу с Горюновыми, жена его, худошавая женщина с изнуренным лицом, но еще не совсем утратившим прежнюю красоту, сидя на печке, пряла шерсть; Никита и Марья, сидя на полу перед матерью, чесали куделю, отчего в избе было очень пыльно, а на полу по всей избе много сору. Лизавета Елизаровна ткала в комнате половики. Она была высокая, здоровая девушка, так что по загорелому, или красному от ветра и от огня, лицу ее ей можно было дать года двадцать два. Руки ее были довольно развиты, крепки и жестки, что доказывало, что она уже давно знакома с тяжелой работой, а прямой надменный взгляд ее карих глаз как будто говорил, что она не боится никого.

– Здорово, старуха!.. Ах, вы, проклятые! Разве нету вам бани?.. Нашли, где куделю чесать, – проговорил хозяин, обращаясь сперва к жене, потом к детям.

– Ну, гости дорогие, садитесь. Вот она, моя-то хата! Тесновата, да зато тепло, как в раю.

– Уж не говорил бы! Не то время... – проговорила хозяйка, слезая с печки.

Она оглядела вошедших подозрительно, слегка поклонившись им.

– Прежде жарили, знашь как, печь-ту, потому учету не было, а теперь берешь полено-то, да и ожигаешься.

– А ты бы взяла да и расколола его напятеро, – сказал Терентий Иванович.

Хозяйка посмотрела на него с презрением, сложила руки на груди и сказала дочери:

– Лизавета, накорми-ка отца-то.

Лизавета сидела у окна против двери в избу и смотрела на вошедших гостей, особенно на Пелагею Прохоровну и Григорья Прохоровича, которые смотрели то на нее, то на прясло.

– Сама корми, – некогда... Еще бы он привел чуть не полную избу, – проговорила недовольно дочь.

Хозяйка ушла в сени, а Пелагея Прохоровна не утерпела и вошла в комнату, где между нею и хозяйскою дочерью скоро завязалось знакомство.

Немного погодя хозяйка приготовила кушанье для мужа: натерла редьки в большую деревянную чашку, налила в чашку квасу и ложку конопляного масла. Хозяин стал приглашать есть и гостей, но они отказались, говоря, что еще с осени закармлиены.

– Как ты думаешь, Власовна, – начал нерешительно муж после того, как жена узнала, кто такие гости: – я хочу их пустить в ту половину.

– Уж ты вечно так. Уж если ты думаешь, так уж чего и говорить.

– А ты как думаешь?

– Чево мне думать!? Ты всегда хорошо делал: по твоей лени да пьянству вот мы до чего дошли! Мне што! Хочешь, штобы сгноили – пускай.

– Слышал, дядя Терентий, какова у меня баба-то? Ежели я что захочу, не нравится, и нос кверху вздернет, а если она што захочет, так так тому и быть следует.

– Дурак...

– Съел меду бурак.

– По чьей милости ты в полесовщики-то попал? – сказала жена обидчиво.

– О! Все знают... Сказать ли?

– Уйди, бесовестный!.. – И жена ушла в комнату, где Пелагея Прохоровна уже свободно разговаривала с хозяйской дочерью.

Горюновы поселились в другой половине дома Ульяновых, но первую ночь ночевали на промыслах, потому что квартиру нужно было протопить, а дров Степанида Власовна не давала, говоря, что их очень мало и для себя.

В квартиру они вернулись на другой день вечером, и каждый из них нес или по два длинных толстых полена, или по одному, смотря по силам каждого. Но только что они вошли во двор, как услышали крик в хозяйской половине, а Лизавета Елизаровна, стоя у рукомойника, плакала.

– О чем, девка, плачешь? О чем слезы льешь? – сказал шутя Терентий Иваныч.

– Ох! тятенька пьяный пришел! Уймите вы его, он убьет мамоньку.

– Проводи-ко ты, голубушка, в квартиру-то, а я уже пойду погляжу, что хозяин творит.

Лизавета Елизаровна повела жильцов в новую половину, а Терентий Иваныч пошел к хозяину.

Елизар Матвеич, сидя у стола и держа в одной руке маленький пузырек, ругался. Он был пьян.

– Э! Сосед!.. Посмотри-ко, што моя-то благоверная творит!.. Отравить хочет! – кричал Ульянов.

– Полно-ко, Матвеич, дурить-то!

– Не веришь? Ты мне не веришь, што она с лесничим жила?..

– Мне какое дело!

– Тебе нет дела, а мне есть... Теперича ты не веришь, што она меня хочет отравить; а ты еще, верно, забыл, што я твой хозяин и могу теперича тебя взашей!

– Да с чево ей отравлять-то тебя?

– Нет, ты послушай...

В избу вошла Степанида Власовна с избитыми щеками, из носа сочилась кровь.

– Варвар ты! Разбойник... – кричала Степанида Власовна.

Муж поднялся с лавки, но Горюнов усадил его.

– Постой! ты знай, что я в рудниках робил и не эдаких еще скручивал... Ты поглядел бы на себя-то, на кого ты похож?..

– Я? Ты думаешь: кто я? Я лесной князь, потому я над лесом командую.

Ульянов вошел в свою сферу и стал говорить о своей лесной службе – и, наконец, вошел в такой пафос, что, размахивая руками, бросил склянку, не заметив того сам, а Горюнов подобрал и положил в карман своего тулупа.

Между тем Степанида Власовна вышла на двор. Там Григорий Прохорыч возился с толстым сучковатым поленом. Как он ни ухитрялся расколоть его, оно не раскалывалось, а только топор крепче прежнего заседал в нем. Пелагея Прохоровна и Лизавета Елизаровна стояли недалеко от него и хохотали.

– Да скоро ли, Гришка? Заморозить, што ли, нас хочешь?! – говорила сестра.

– Где ему, вахлаку, расколоть! – говорила, смеясь, Лизавета Елизаровна.

– А вот расколю! Уйдете ли вы?! – горячился Григорий Прохорыч.

– Ох ты, заводская лопата! И полено-то расколоть не умеешь.

– Ты бойка! Ну, расколи! Расколи!..

– Затопили печь-ту? – спросила Степанида Власовна.

– Да вот дожидаемся, когда этот вахлак расколет, – сказала Пелагея Прохоровна.

Хозяйка пошла в квартиру Горюновых, за нею и Лизавета Елизаровна с Пелагеей Прохоровной.

Григорья Прохорыча пот пробирал крепко, и ему очень было стыдно, что его осрамила хозяйская дочь, красивая девка, которую так и хотелось ему, по заводскому обыкновению, ущипнуть. И выбрал же он такое полено проклятое... нужно же было ей войти во двор с сестрой; но не будь ее, он скорее бы расколол полено, а то никак он не может попасть куда следует.

Однако все-таки он расколол полено, и когда пошел в квартиру, хозяйка уже выходила из нее.

– Гляди, девка, наше полено взял, ей-богу! – сказала Лизавета Елизаровна.

– Есть што брать! Погляди на щепки сперва, потом говори.

– Будь ты проклятая, хвастуша!

Девочки занялись разговорами, но недолго: кто-то застучал в стену, и Лизавета Елизаровна убежала, оставив своих сестер и брата у Горюновых.

Елизар Матвеич, объявив свой супруге, что завтра чем свет он отправляется в лес и поэтому ему нужно напечь хлеба, отправился с Горюновым в варницы. Это путешествие в варницы супруга объясняла тем, что он нашел по себе приятеля – пьяницу, а так как у нового приятеля нет денег, то он повел его разыскивать других приятелей, чтобы напиться пьяному.

– И откуда это он все таких приятелей приобретает? – спросила дочь.

– Небось ты рада!

– Есть чему мне радоваться.

– То-то будешь опять строить лясы-балясы...

– Мамонька...

– Думаешь, не знаю, как ты с Ванькой Зубаревым... Смотри-кось, брюхо-то вздуло... Варначка!<sup>1</sup>

Лизавета Елизаровна надула губы, села к окну, задумалась, утерла появившиеся на глазах слезы.

– Чево там прихилилась (притаилась)... Я думаю, надо квашню заводить, – крикнула мать.

На другой день утром Ульянов отправился в лес, взяв с собой три ковриги хлеба и бурак с простоквашей. Он было начал придирается к дочери насчет склянки, но дочь успокоила его, что склянку ее матери приносил фельдшер и в этой банке был спирт, которым мать терла себе левую руку.

– То-то, смотрите вы... Доведете вы меня до того, што я брошу вас, – сказал Елизар Матвеич.

Но так как эти слова доводилось и жене, и дочери слушать не в первый раз, то и теперь им в семействе Ульянова не придали никакого значения.

---

<sup>1</sup> Каторжная.

## VI. Рабочий день на промыслах

Через неделю после того, как Горюновы водворились в доме Ульяновых и после ухода на кордон Ульянова, Терентий Иванович сказал, что завтра будут носить из прокопьевских и алтуховских варниц в амбары соль. А так как эта весть распространилась по всему побережью от других рабочих, то все население побережья и других улиц, в домах которых живут преимущественно бедные семейства, еще с вечера стало готовиться на работу на завтрашний день. Еще с вечера в домах происходили ссоры братьев с сестрами из-за того, что братья хотели оставить работы в варницах и других местах и заняться соленошением. Сестры говорили, что это занятие бабье, а не мужское, потому что бабам нету такого положения, чтобы работать в варницах. Отцы и матери старались прекратить эти ссоры тем заключением, что на промыслах, с самого основания их, соль носили бабы, что это дело бабье и только в случае недостачи баб прихватываются мужчины. Но самая вражда женщин к мужчинам еще больше выразилась утром на промыслах.

Утром, в шестом часу, перед домом смотрителя, на площадке, стояло сотни две женщин и с полсотни мужчин. Было темно, шел снег, и по тесноте происходила толкотня, тычки, щипки, взвизгиванья, руганье и хохот. Здесь ничего нельзя было разобрать: голосили женщины на разные лады, кричали и свистали мужчины, пищали ребяташки.

- Бабы! Гоните прочь мужиков! – кричит женщина.
  - Отгоняйте их к поленнице! – кричит другая.
  - Попробуй, коли бойка...
  - И как это не стыдно: чем баловать, шли бы в другое место.
  - Без баб и робить скучно, – крикнул молодой парень.
  - Только никак не с тобой, косорылым... Отчего вы на варницы баб не пускаете?
  - Што легче, за то и берутся! – кричали бабы.
  - До обеда проносят, а потом и ноги протянут, – сострил мужчина.
- Все захохотали.

Началась свалка: женщины стали толкать мужчин; мужчины начали сердиться не на шутку и стали употреблять в дело кулаки; женщины схватили кто полено, кто подпорку от поленницы, отчего некоторые поленницы рассыпались. Послышались взвизгиванья, стоны, оханья, ругательства: одного мальчугана придавило поленницей, трех женщин изувечило, одному мужчине переломило ногу.

– Варвары! Што вы наделали? В острог вас мало посадить! – кричали со всех сторон женщины.

- Кто поленья-то взял? – кричали мужчины.
- У женщин уже теперь не было поленьев.
- Бабы! Кто из вас бойчее? Идите к смотрителю.
- Несколько женщин отделились, составили кучку и стали держать совет.
- Олена, ты бойчее, ты первая говори.
  - Нет, он меня терпеть не может. Лизку надо заставить.
  - Пожалуй, я пойду, – сказала Лизавета Елизаровна.
  - Сказать ему, мужчин нам не надо; пусть в алтуховские идут.
  - Чего и говорить: первая со своим женишком кривобоком пойдет...

Начались попреки, и дело опять дошло чуть ли не до драки, но вышел смотритель. В это время уже светало.

- Пять молодых женщин, и в том числе Лизавета Елизаровна, подошли к нему.
- Назар Пантелеич, што это за порядки: мужчины за бабами хвостом бегают.
- Смотрителя окружили все – и мужчины, и женщины.

– Мужчин нам не надо.

– Заставь их пленницы складывать: они пленницы уронили, народу сколько изувечено.

– Ну-ну... пошли!

– Да ты выслушай.

– По гривне с бабы! – сказал смотритель и пошел.

Народ повалил за ним: мужчины хохотали, женщины злились.

– Ну, где это справедливость?

– Тащите его к дровам. Пусть он посмотрит, што мужчины делают!

Женщины стали напирать смотрителя к дровам, мужчины отталкивать.

– Стой! Што это такое? Али я не начальство? – кричал в бешенстве смотритель, размахивая кулаками, но женщины скрутили ему руки.

– Кто меня смеет трогать! – кричал смотритель.

– Бабы, до коих ты больно лаком! Пустите его!.. Покажите пленницы!.. – кричали женщины.

Пленницы были близко, смотрителя пустили. Он хотел как-нибудь уйти от них, но его удержали.

– Послушай, Назар Пантелеич! Если ты с нами так будешь вежлив, мы и к управляющему пойдем, – кричали бабы.

– Нет сегодня работы!!

– Если ты мужчин не заставишь складывать пленницы, мы к управляющему пойдем.

– Убирайтесь к черту! Кто пленницы рассыпал? Кто народ искалечил? – кричит смотритель, увидя охающих больных с перешибленными руками или ногами.

– Бабы!..

– Мужчины!!

– Пошли вон! Свиньи!.. Везите в лазарет больных, – управляющий неравно приедет...

Мужчины пошли прочь, к варницам.

– Куда пошли? Эй, вы?! – кричал смотритель мужчинам.

Мужчины разбежались.

– Што, не правду мы говорим, што вы трусы?..

– Ну-ну! Каждый раз с вами мука. Идите к варницам, да этих уберите.

Все женщины стали к двери в варницу, откуда предполагалось носить соль по длинным, не очень крутым лестницам, тянувшимся до амбара сажен на сто. Дверь была заперта. На одном плече у каждой женщины болтался мешок; большинство из них ели черный хлеб. Немного женщин держали в руках небольшие бураки с квасом. Все голосили, кто о чем хотел, но особенно о недавнем геройском подвиге; сожалений об изувеченных слышалось немного, потому что все были в таком настроении, что каждой хотелось непременно попасть на работу.

Пелагея Прохоровна стояла сзади Лизаветы Елизаровны. Она не участвовала ни в ссорах, ни в разговорах; ее удивляла смелость промысловых женщин и то, что они здесь имеют-таки превосходство над мужчинами. Особенно ее удивляли резкие выражения, бойкость и вертлявость Лизаветы Елизаровны, которая здесь не походила на хозяйскую дочь, девушку смирную, какую она ее видела дома в течение недели. А так как она молчала и женщины видели ее на промыслах в первый раз, то ей часто приводилось быть далеко от Лизаветы Елизаровны, которую она теряла из вида, но которая, впрочем, ее сама звала и потом держала то за руку, то за шугайчик, то за сарафан.

– Я тебе говорю, не отставай! Ототрут – не попадешь! – говорила она каждый раз.

Но вот подошел смотритель. Женщины старались выдвинуться вперед и оттерли Пелагею Прохоровну.

– Мокроносиха! – крикнула Лизавета Елизаровна, оглядываясь, – и, увидав голову Пелагеи Прохоровны аршинах в двух от себя, рванулась к ней, столкнув с мостков женщин десяток, и крепко схватила шугайчик Пелагеи Прохоровны.

– Какая ты разиня! Держись! – крикнула она сердито, толкая ее вперед.

– Да толкаются...

Вмиг Мокроносова с Ульяновой очутились перед смотрителем, который отбирал от женщин мешки. Сзади смотрителя стояли Терентий Иванович, Григорий и Панфил Горюновы и двое других рабочих. По лестнице поднимались припасный, или приемщик соли в амбар, с огромными ключами и один рабочий.

– Куда ты ее поставила? Куда?!

– По морде ее свисните, – голосили бабы, обращаясь к Лизавете Елизаровне.

– Ну-ко, попробуй...

– Ты, Лизка, опять буянить... А это што за баба? – спросил смотритель, оглядывая Пелагею Прохоровну и отбирая от нее мешок.

– Тебе што за дело!

– А баба ничего... Ну, на эту будет. Пошли туда!.. – проговорил он остальным женщинам с мешками.

– Назар Пантелеич! Родименькой!.. На эту... – голосили женщины.

– Ну-ну... Пошли! Считайте мешки!

И смотритель швырнул отобранные мешки к двери в варницу.

Терентий Иванович стал считать мешки.

– Смотри: которые с клеймами, те только бери. Нет ли сшивок внутри, дыр?

– Все в исправности, – сказал Горюнов. Непринятые женщины побежали к другой варнице.

– То-то... Они, толстопятые, всегда все лестницы обсыпают, как снегом... Ну, сегодня вам плата по гривеннику за сто мешков.

Женщины заголосили.

– Ну, не хотите, так пошли прочь.

– Всегда четвертак платил...

– Ну-ну! Пятнадцать копеек – и делу начин. Начинайте благословясь.

И смотритель, не слушая криков женщин, стал отпирать варницу.

В варницу нахлынули чуть не разом все принятые сорок женщин, в числе коих оказалась принятой и Степанида Власовна, которую до сих пор ни дочь, ни Мокроносова не замечали в большой толпе.

На стене варницы, противоположной амбарам, были на большом пространстве начерчены мелом кресты и палочки. Некоторые женщины присели и стали есть, бесцеремонно захватывая соль с полатей; посыпав ее немного на куски, остальную заталкивали в большие карманы, заметно оттопырившиеся на боках сарафанов.

– Не нажрались еще, штоб вам треснуть! – говорил смотритель, отталкивая женщин от полатей.

– Начинай! Будет вам шалберничать-то, сороки!

Женщины похватили мешки, причем без криков не обошлось, потому что каждой хотелось свой мешок получить, но пришлось брать какой попало, так как смотритель торопил, бесцеремонно колотя по спинам баб.

Смотритель разделил баб на две смены, по двадцати в каждую. Начали насыпать мешки, потом весить соль в мешках. Смотритель требовал, чтобы каждый мешок тянул не менее двух пудов; излишек, как бы он ни был велик, то есть как бы сильно ни перетягивал двухпудовую гирию, не сбрасывался.

Теперь только и слышалось в варнице: поменьше сыпь! Скинь, Христа ради, – как перетянуло гирию... Ладно... упрешь! Толста больно... Поднимай!

Молодые Горюновы только и делали, что поднимали мешки на плечи женщин, и когда Лизавета Елизаровна поставила мешок на носок левого сапога Григорья Прохорыча, он ущипнул ее, да так больно, что она взвизгнула, а смотритель, захохотав, сказал:

– Што, Лизка, верно, не на нашего наскочила.

Лизавета ударила всей пятерней по лицу Григорья Прохорыча, так что у него на щеке образовалось четыре полоски с солью. Положив мешок на плечо, Лизавета Елизаровна пошла как ни в чем не бывало, но Пелагея Прохоровна почувствовала, что у ней мешок как-то не так, как у людей, лежит на плече, и кажется ей тяжела эта ноша.

– Ну-ну... Чево вертишься с мешком-то, не отставай, – крикнул смотритель и начертил на стене крест...

Этот крест означал число разов, или число мешков, этой смены.

Потом насыпанье соли для второй смены началось таким же образом. Эти женщины пошли к амбару тогда, когда на верхней площадке лестницы, перед дверями амбара, показалась женщина с порожним мешком на плече.

Все двадцать солоносок шли по лестницам врассыпную, в расстоянии друг от друга на сажень и на пять сажен. По многим из них можно было заключить, что они уже давно привычны к этому занятию и им нисколько не тяжела эта работа – подниматься постепенно с ношей кверху по скользким и шатким доскам. Ступеньки сделаны кое-как на крутых подъемах и поворотах. Все они идут скоро, держа одною рукою мешок, а другою размахивая или подперев бок. Одна только Пелагея Прохоровна отстала сажен на тридцать от них. Из варницы на нее крикнули, она вздрогнула; солоноски оглянулись и подняли ее на смех... Теперь уж не так тяжело ей, а только скользко. Ей так и кажется, что ноги у нее подкашивает, что ноги ее катятся, что она упадет, или вдруг переломится доска, и она провалится, а ухватиться не за что, – перил нет... И чем дальше она идет, тем резче ее пробирает ветер; чем выше она поднимается, тем больше увеличивается ее пугливость: она боится глядеть вниз, и только вид других женщин, уже возвращающихся с пустыми мешками, не позволяет ей вернуться назад или бросить мешки с лестницы и бежать с промыслов.

– Спаси, царица небесная... Дойду, может... – шепчет она.

Взошла она на верхнюю площадку; там перила сделаны, ухватилась за перила и остановилась.

– Обломай перила-те! Ишь, неженка какая! Мы почище тебя рожей-то, да не отдыхаем же.

«Будь оно проклято, житье!» – думает Пелагея Прохоровна и идет в амбар.

– Што, Мокроносиха, устала? – спросила вдруг Лизавета Елизаровна.

– Ой! голова кружится.

– Привыкнешь и на крышу влезешь. Скорее, пойдем вместе назад-ту.

Амбар имел вышины сажен шесть. В нем потолка не было, а только около стен на перекладыны были положены доски; несмотря на то, что против двери в крыше сделано слуховое окно, ставень которого теперь был отодвинут, в амбаре все-таки было не совсем светло. Здесь соль не перевешивали, а двое рабочих только снимали мешки с плеч женщин, брали мешки за дно и вытряхали соль внутрь амбара, а припасный, сидя напротив дверей за небольшим столиком, на котором, кроме счет и листа бумаги, стоял еще графин с водкой, клал на счетах каждый мешок и каждую смену, отмечая на бумаге карандашом как самую смену, так и число мешков в смене, заставляя во время своей выпивки с холода водки погодить бабам ссыпать соль и часто путаясь поэтому в сменах, за что его, конечно, ругали, как кто умел.

Сперва все ходили скучные, оттого, что не совсем размяли свои члены. Через час женщины стали живее, скорее прежнего шли вперед к амбару и с подпрыгиваньями бежали назад.



Все острили то над какой-нибудь неловкой женщиной, то над Пелагеей Прохоровной, ее дядей и братьями, о которых теперь уже все узнали, кто они такие, задирали на ссору, изошрялись в ловкости самым закидывать мешки на плечи, хохотали и старались, во что бы то ни стало, разозлить мужчин. Мало-помалу и Пелагея Прохоровна попривыкла и к ходьбе, и к ноше, и она сделалась сообщительнее; хотя ей и совестно было шутить с мужчинами, все-таки она ввернула два-три словца в отпор зрителю, который на нее, как замечали солоноски, обратил милостивое внимание. И ей казалось весело носить соль после того, как она раз двадцать поднялась кверху; прежний страх прошел, так что она сама смеялась над своею трусостью. Одно ей не нравилось в это время – это то, что солоноски чересчур говорят нехорошие вещи... Чего-чего только они ни говорят о мужчинах, да и себя-то не очень жалеют. Такого свободного обращения, таких свободных выражений она и отроду не слыхивала в Терентьевском заводе. Правда, и там народ обращается свободно – в масленицу, на гуляньях, как, например, в троицын день, когда молодежь на горе березки хоронит, – так зато время такое, праздничное, а не рабочее. Стали попрекать Пелагею Прохоровну нехорошим житьем; Пелагея Прохоровна старалась молчать, понимая, что никаким ее оправданиям не поверят; наконец-таки, рассердили и ее, и она крикнула:

– Мало вы меня знаете, бессовестные вы эдакие!

Молодые женщины на смех подняли эти слова, а пожилые отстали.

Надоели женщинам остроты, насмешки, издевательства друг над дружкой; все начали чувствовать усталость, а отдыхать некогда: надо хоть сотню выверстать, а уж зритель пошел обедать, значит, двенадцать часов, а всего снесено только по тридцати восьми мешков...

Затянула одна голосистая женщина на лестнице песню, песню подхватили еще три женщины – и запели все, исключая Пелагею Прохоровну, которая не понимала этой промысловой песни про тяжелое промысловое житье, из которого выход только одна быстрая реченька, уносящая волюшку к милому дружочку, уплывшему куда-то в море-океан, на остров хлебобродный, на который бедную, несчастную рабу злые люди-лиходеи не пускают и, кроме того, ей про волюшку и об милом и думать не велят.

После того как зритель ушел, женщины стали приставать к Горюнову, чтобы он не весил соль, на том основании, что припасный ее не перевешивает; Горюнов сперва не соглашался, но к женщинам пристали и рабочие, насыпавшие соль. Горюнов уступил и даже пять лишних крестов прибавил на стене. За это он так понравился всем женщинам, что они его превозносили до небес; Пелагее Прохоровне говорили, что дядя у нее отличнейший человек, а из девиц некоторые охотно заигрывали с его племянниками, из коих Панфилу прибавляли лишних три года, так как он на вершок только был ниже ростом Григорья.

Первая смена стала обедать, то есть есть ржаной хлеб, запивая его водой. В это время стали приходить в варницу взрослые парни. Появлению парней девицы обрадовались, потому что они теперь могли замениться ими. Парни вели себя чинно, стараясь ввернуть какое-нибудь мудреное словцо женщинам, не показывая, впрочем, вид, что оно произнесено для того, чтобы его похвалили его зазноба. Но это была вежливость вообще к дамскому полу: парни здесь не осмеливались подойти прямо каждый к своей подруге, начать с ней разговор, потому что это было неприлично, так как тут находились даже и матери нескольких девиц, и такого парня подняли бы на смех все женщины.

Пелагея Прохоровна сидела рядом с Лизаветой Елизаровной. Обе они посматривали на парней, но первая смотрела на них с любопытством, а вторая – с презрением. Пелагея Прохоровна заметила, что парни не вызываются сами носить соль, а напротив, их сами дамы вызывают.

– Поняла ли? Это наши кавалеры. Гляди, вон пятеро уж понесли, а вот те двое, што стоят – облизываются, с носом остались...

– Што так?

– Один-то с Одувановской все хороводился, да она сегодня о поленицу ушиблась... И стыда нет у человека: ведь знает, что она нездорова, пришел.

– А другой?

– Ну, тот погодит... У него губа больно толста.

И Лизавета Елизаровна с негодованием встала и пошла с Мокроносовой.

– Ох, вы, вахлаки! А еще парни прозываются, – сказала она Григорью Прохорычу, с неудовольствием взглянув на него.

– Собака, так собака и есть! – ответил Григорий Прохорыч.

– Осел! Нет, штобы заменить, – сказала Лизавета Елизаровна.

Григорью Прохорычу сделалось стыдно, и он, когда сестра и Ульянова подошли к нему, сам вызвался нести за Лизавету Елизаровну соль.

– Давно бы так! А ты носи за сестру, – сказала Лизавета Елизаровна Панфилу.

Мокроносову и Ульянову заменили молодые Горюновы, но Панфил сходил только два раза: больше идти у него не хватило сил; поэтому обе женщины стали чередоваться. Два парня, про которых говорила Пелагее Прохоровне Лизавета Елизаровна, долго стояли около двери варницы, как оплеванные, и молча переносили насмешки.

Один из них было попросил Лизавету Елизаровну нести за нее соль, но она ему сказала:

– Не стоишь! У меня другой есть помощник.

– Ну, погоди!.. Каков ни на есть, дам твоему помощнику.

– Не беспокойтесь, пожалуйста.

– Ноги я ему обломаю. – С этими словами парень ушел.

В одну из смен Лизавете Елизаровне пришлось идти сзади Григорья Прохорыча.

– Што, небось устал? – спросила она его.

– Ничего.

– То-то и есть! Ваше дело только хвастаться... Только и слышно от мужчин: ох, как чижало! А вот мы и бабы, да не говорим, што нам тяжело.

Григорий Прохорыч только промычал. Тем и кончился разговор в эту смену.

В другую смену женщины запели песню, им подтягивали и парни, голоса которых резко отличались от женских голосов. Лизавета Елизаровна пела немного, она часто останавливалась, прислушиваясь, поет или нет Горюнов.

– Ты што ж не поешь? Али горлу твоему тоже чижало?

– Как бы умел, запел бы...

– Ну, и парень! Чему вас в заводе-то обучали?

– У нас другие песни, на другой голос.

– Ну-ко, спой!

Горюнов не стал петь.

К вечеру стали появляться на варницах и мужчины – братья, дяди и мужья, покончившие с работами на других варницах; в числе их было шесть человек возчиков и Елизар Матвейч, который обыкновенно приезжал с кордона прямо в варницы, так как дорога до дома шла мимо промыслов.

– Дайте-ко, бабы, мы поносим, разомнем косточки, – напрашивались мужчины, бесцеремонно хватаясь за мешки. Женщины хотя и изъясляли свое неудовольствие за то, что мужчины не в свое суются дело, однако с радостью отдавали мешки и садились, говоря:

– Ох, устала!

– Не ты бы говорила, да не мы бы слушали. С самого с обеда не носила.

– Ах, ты... Сосчитай, сколько теперь-то на баб мужчин, – перекорялись женщины.

Мужчин с парнями было и теперь наполовину меньше всех женщин.

Женщины, числом девятнадцать, стали чередоваться с теми, которым неким было замениться, более прежнего острили над мужчинами и парнями, которые к вечеру уже без церемо-

нии обращались с своими предметами, щекотя и щипля их, перекидываясь с ними любезными словцами вроде: «Матрешка толстопятая», «Офимья безголосая», – на что и им отвечали соответственными выражениями. Горюнов старший скоро заметил, что соленошение идет не так успешно, как раньше, и прибавил еще два креста по просьбе одной тридцатилетней здоровой женщины, которой он частенько отпускал каламбуры, что и смешило ее чуть не до слез. Он не обращал внимания на шалость молодежи, но когда уже невозможно было определить, кто из какой смены, а молодежь стала дурачиться больше и бегать по варнице, тогда он крикнул:

- Таскай, пока светло!
- Ставь крест! – ответили ему.
- Да я и так десять крестов лишних поставил.
- Спасибо на этом, прибавь еще десяточек.
- Кроме шуток говорю – робь! Смотритель придет – кто будет в ответе, как не я?
- На празднике угостим! Считай за нами.

Так Горюнов ничего и не мог сделать и относил всю причину беспорядков к присутствию мужчин, до которых бабы работали усердно. «Впрочем, – думал он: – мне какое дело? Они будут получать деньги, а не я», – и он подозвал племянницу.

- Ты што же села?
- А што мне идти, когда никто нейдет. Што скажут?
- Да ведь еще сотни нету... Подумай, сколько тебе придется денег. Я и так уж много

лишних крестов поставил.

- Бабы! сходите раз, да и баста! – крикнула Пелагея Прохоровна.
- Смотрите, как наша-то заводчанка разохотилась! Пойдемте нето, – проговорила одна женщина.

На этот раз пошли все сорок женщин враз, отстранив мужчин; в продолжение всего хода пели.

Это был последний раз.

Припасный, несмотря на то, что в графине уже не было водки, бодро держался на ногах, и, по мере того как его пробирал хмель, становился придирчивее и ругался, по привычке, – без меры, но не от сердца. Сколько его ни просили женщины сделать прибавку в своей бумаге, он твердил одно: нельзя!

Заперев дверь амбара, припасный с рабочими сошел вниз.

Там, около варницы, собрались солоноски, около них терлись мужчины и парни. Дверь в варницу захлопнули за припасным. Там был в это время приказчик, приехавший с мешком медных денег, смотритель и Терентий Иванович.

– Противу прошлых разов сегодня больше отнесено соли. Не видите разе, что соли осталось чуть ли не на полсуток, – говорил приказчик, указывая на полати.

– Да и я сомневаюсь. Больше восьмидесяти мешков по зимам не вынашивали, а сегодня выношено девяносто девять, – говорил смотритель.

Припасный стал считать на своей бумаге палочки. По его записке оказалось, что первая смена прошла шестьдесят девять раз, вторая – семьдесят.

- Черт вас разберет тут! Сколько же всего разов-то схожено? – кричал приказчик.
- Я сам считал! Я не мог ошибиться, – проговорил смотритель, строго смотря на Горюнова.

- А я даром сидел? – горячился припасный.
- Взятошники! Мошенники! Живодеры! – кричал приказчик.
- Помилуй, Иван Сидорыч! С чего тут взято!
- Вы думаете, надуете меня? Не-ет! – И подошедши к стене, он стер половину крестов.
- Вот, коли так! Не плутуйте потом... Подай мне свою бумагу да зовите баб, – проговорил приказчик, обращаясь к припасному и к остальным.

Когда женщины вошли в варницу, в ней уже был зажжен в фонаре сальный огарок.

– Плохо же вы, бабы, нынче работаете. Прежде по полтора мешков вынашивали, а теперь и плата больше, а вы и пятидесяти мешков в день не можете вынести... Вольные нынче стали!! Свободу вам дали!!

Женщины плохо понимали слова приказчика.

– Што рты-то разинули? Сказано, всего по сорока пяти мешков вынесли.

– Не грех тебе, Иван Сидорыч, обижать! – завопили женщины.

– Ничего не знаю, так записано. Хотите получить по десяти копеек? И так уж целых три копейки делаю накладки.

Женщины было начали возражать, но приказчик прикрикнул на них и припугнул их тем, что они и этих денег не получают. Женщины согласились, ругая смотрителя и припасного.

Рассчитавшись с женщинами, приказчик приказал смотрителю непременно очистить завтра варницу от соли, сказав ему, что он завтра не будет, а он, смотритель, может сам прийти или приехать к нему за деньгами для расплаты с солоносками. Потом приказчик уехал.

– Эх, черт его принес! Я хотел сам рассчитать своими деньгами, а его сунуло... Однако ты, Горюнов, ловок приписывать! А знаешь ли ты, што стоит эта приписка? Сколько ты слупил с баб?

– Провалиться на сем месте, штобы я приписал.

– Клятвам мы, братец, не верим. Эту вину я тебе прощаю на первый раз, потому единственно, что тебе на первых порах разжиться немного не мешает.

– Назар Пантелеич...

– Не заговаривай... За тобой еще есть долгишко?.. Вперед попадешься, не плачь. Спроси вон припасного, как эти дела нужно обделывать, штобы и волки были сыты, и овцы целы.

С этими словами смотритель вышел из варницы, заперев дверь.

Терентий Иваныч долго стоял в раздумье у варницы. Ни одной веселой мысли не приходило ему в голову. Жизнь казалась ему такою противною, приказчик, смотритель и припасный такими гадкими, что он готов был в эту же ночь уйти в другое место.

А солоноски, в сопровождении мужчин, с песнями выходили с промыслов в село. И далеко раздавалась их протяжная, бестолковая, невеселая песня.

## **VII. Терентий Горюнов и Ульянов уходят на золотые прииски**

Так же начался и второй день на промыслах; только к обеду смотрителя соль была вся выношена из варницы, в которой служил Терентий Иваныч; но женщины не шли по домам, а дожидались расчета. Теперь они положительно знали, сколько каждую снесено мешков, потому что записывал сам смотритель, который, прежде чем идти домой, объявил, что каждой бабе приходится за сегодняшнюю носку по шести с половиною копеек. Женщины от нечего делать, в ожидании смотрителя, сперва хвастались тем, кто сколько из них принес вчера домой на рубахе и на заливке соли, насыпавшейся туда от мешков, кто сколько принес соли в мешковых складках; каждая старалась убедить другую, что она постоянно ворует соль, а одна девица укоряла тоже девицу, что та даже вся пропитана солью, как татарка козлятиной. Но тут не было и тени неудовольствия; говорили потому об этом, что говорить было не о чем, к тому же на промыслах без воровства нельзя жить – это даже говорит и Терентий Иваныч, который рассказал уже женщинам несколько раз про вчерашний урок, данный ему смотрителем. Наконец надоело болтать, стали бороться, а более молодые и вертлявые даже начали кататься с лестницы, как будто у них и заботы никакой не было. Но смотритель не приходил долго; женщины стали зябнуть; развлечений нет никаких. Пошли на берег; там по льду кое-где ребята катаются на коньках, на санках или просто бегают, кидаясь в то же время и снегом. Скучно и здесь, так бы и не глядел ни на что, не так, как летом. Тогда так и рвутся солоноски на берег. Усядутся они на набережных или на сходнях и начинают петь... И чем дольше сидит женщина, тем ей кажется легче, она сосредоточивается сама в себе. Нравится ей этот простор, эти бурые волны, лодки, слегка колеблемые ими; сердце у ней бьется, поет – и ей хочется куда-то... И долго-долго тогда сидят женщины, до тех пор, пока их не привезут всех на другой берег или пока не покачает кто-нибудь в лодке.

Пришел смотритель, рассчитал женщин, а Горюнову сказал, что с понедельника нужно пустить варницу в ход; до понедельника же он будет свободен.

Горюнов попросил у него денег.

– Какие такие тебе деньги? – спросил с неудовольствием смотритель.

– Я уже восемь дней прослужил.

– Стыдился бы ты говорить-то! Ведь ты уж содрал с баб шесть целковых?

– Не стыдно тебе говорить-то это? Не знаешь ты меня...

– Еще говори спасибо, что я держу тебя... А што касается до жалованья, так ты должен помнить условие.

– Но чем же мне жить?.. Сам рассуди, я нанялся не для того, чтобы даром служить.

– Даром! Ха-ха!.. И он мне еще говорит!.. Ступай-ко, братец ты мой, домой, сходи в баню, а завтра помолись богу за наше здоровье: может, поумнее будешь.

Смотритель ушел.

– И это у человека нет совести. Ну, хорошее же я житье нашел. Двадцать пять лет по крайней мере я жил своим умом, а теперь... Нет, правду сказал Коровяев, не житье здесь...

Задумался Горюнов крепко. Денег у него всего только рубль, идти в другое место нет тоже резона, потому что нужно наперед отыскать место... Идти на золотые прииски, – пожалуй, дело рискованное. Казенные прииски и прииски богатых людей ему известны; они обставлены так, что там трудно чем-нибудь пожить, а хотя и платят за работу, то тоже и там, в глуши, начальство самоуправничает, как ему хочется, потому что, имея деньги, во всякое время может найти рабочих из беглых, ссыльных и других людей за бесценок. Остается идти на такие прииски, которые только что открываются, хозяева которых, люди неопытные в этом деле, вручают разработку мошенникам, которые только высасывают у хозяев деньги и, по нера-

дению своему и неумелости, доводят прииски до того, что их потом или бросают по негодности, или продают за бесценок.

– Надо разузнать об этом, во что бы то ни стало... И лишь бы попасть мне только на такой прииск, забрал бы я его в руки!..

Елизар Матвеич был дома, и когда семейство его ушло в баню, Горюнов сообщил ему свои мысли.

– И я, брат, думаю об этом уж давно. Недавно мимо меня проходил один беглый. Попросился погреться. Я впустил и стал спрашивать: не знает ли он, где жизнь лучше? Ну, конечно, он захохотал, как и я в те поры, как впервые вас встрел... Ну, он все-таки сказал: супротив, говорит, того места, где я жил, не бывать лучше! Стал я от него добиваться правды, – нельзя, говорит: сказывать не велено, потому, говорит, штука!.. Раскольники тем местом пользуются; золота, говорит, там больно много, только про то раскольники и знают. Ну, я думал, он врет, стал пытаться: коли, мол, правду говоришь, зачем не жил там? Скажи да и только мне место, и говорю ему: живи, мол, ты у меня хоть сколько. Ну, он уезд сказал, а место – нет. Там, говорит, верстах в пятидесяти уже моют золото, только непорядков много. А убежал он из острога и опять туда же пробирался.

– Не махнуть ли нам туда, Елизар Матвеич?

– Махнуть!.. Легко сказать. А пойди, и до половины не дойдешь.

– Оно, правда, верст четыреста будет... Только я на твоём месте не так бы думал.

– Как же?

– А взял бы да и срубил остальной лес.

– Ну, нет! Легко срубить, а отсчитываться-то как?

– О, Елизар Матвеич! Я думаю, нечего тебя учить отсчитываться.

Скоро приятели расстались, но оба они не спали целую ночь, думая, каким бы образом им разжиться деньгами, как лучше сделать относительно семейств: оставить ли их здесь или взять с собой? У обоих только и было мысли о золотых приисках... «Шутка – работать на приисках, своими руками доставать и промывать золото! Да тогда нужно дураком, олухом быть, чтобы пропускать этот металл в чужие руки даром. Вот теперь дозволено даже крестьянам самим искать золото, за это им деньги платят, только иметь его у себя или продавать его нельзя. Вот бы тогда я стал богач; сперва бы сделался доверенным, потом записался бы в купцы...» И много-много хорошего шло в головы обоих искателей счастья; много приходило несбыточного, и много такого, что могло осуществиться при особенном счастье и при ловкости человека.

Утром, в воскресенье, в домах происходила стряпня. За неимением больших денег Степанида Власовна пекла яшные ватрушки и пирог с грибами. Пелагее же Прохоровне нечего было печь: не на что было; хотя же Степанида Власовна и предлагала ей капусту, но у нее не было муки, и она еще рано утром купила на рынке две ковриги хлеба и фунт мяса. Терентий Иванович сидел у окна задумчиво, племянники рассуждали о бабах и часто ссорились. Все эти четыре лица, казалось, не обращали внимания друг на друга и, за исключением братьев, не относились друг к другу ни с каким вопросом и как будто тяготились друг другом. Братья еще плохо понимали жизнь; дядю считали за человека, равного себе относительно работы, и только потому, что он теперь уставщик на варнице, думали, что он должен иметь деньги и им придется работать на варницах шутя. Пелагея Прохоровна думала, что, пришедши сюда, она променяла кукушку на ястреба. Здесь она хотя и свободная женщина, зато у нее ничего нет, а приобретет ли она что-нибудь впоследствии, сказать трудно. Работа тяжелая, люди чужие, обращение у них нехорошее. И все это случилось по милости дяди и Короваева. Терентий Иванович думал, что ему не надо бы было брать племянницу и племянников: пусть бы они жили как хотят, и пусть ищут себе счастья сами. А то завел он их в такое место, где они совсем сойдутся с толку, потому что люди молодые...

Зазвонили к обедне. Пелагея Прохоровна стала чесать голову. Пришла Лизавета Елизаровна.

- Ты пойдешь? – спросила она Пелагею Прохоровну.
- Чего я там забыла!
- Пойдем. У нас певчие очень хорошо поют.
- Ну уж! против городских вряд ли споют.
- У вас только и хорошо в городе, а сами... Пойдем!
- И я пойду! – сказал Терентий Иванович.
- И я! И я! – прокричали два брата.

Через полчаса Горюновы, Пелагея Прохоровна и Лизавета Елизаровна отправились в православную церковь.

Церковь была битком набита народом; но мастеровые стояли направо, а заводские женщины и девицы налево, исключение составляли аристократки, которые стояли впереди на правой стороне, и их как будто отгораживали от рабочего класса купцы, чиновники и вообще люди высшего сельского общества. Пожилые рабочие молились усердно, можно сказать, от всей души; но молодежь промысловая, надо сказать правду, пришла сюда ради развлечения: послушать певчих, дьякона, посмотреть на девиц, на их наряды и, при случае, подмигнуть и скорчить лицо.

После обедни холостые мужчины отправились или в гости к своим невестам, на капустный или грибной пирог, или в харчевни; семейства шли отдельно, кучками, молодежь говорила незамужним дамам любезности, но из приличия не выходила, потому что в селе все семейства были на перечеке и никто не хотел, чтобы про него или его дочь говорили дурно. Кто шел через рынок, тот покупал мелких кедровых орехов, но других не потчевал и сам не угощался, так как праздник состоял в том, чтобы сперва пообедать, потом поспать, потом поиграть до вечера в карты, развлекаясь, между прочим, и орехами.

Скуден был обед Горюновых. Пелагея Прохоровна и Терентий Иванович молчали, но не молчали братья.

- У людей дак пироги, а у нас все редька да редька! – говорил Григорий Прохорыч.
- И это хорошо, – заметил дядя.
- Робишь-робишь, а поесть нечего!
- Уж молчал бы лучше! сколько ты выробил денег-то! – проговорила Пелагея Прохоровна.

– Што ты меня упрекаешь? разве я не заплачу вам! Ты своего-то Короваева упрекай, што он бросил тебя...

- Гришка! – крикнул дядя.
- Я давно Гришка!.. нечего кричать-то!
- Кабы ты был умнее, не говорил бы! – И Терентий Иванович вышел из-за стола.
- Ты, дядя, што же? – спросила с испугом Пелагея Прохоровна.
- Я сыт...
- Да щей-то похлебай.
- Не хочу.

И Терентий Иванович, одевшись, ушел к хозяину, но Ульянов тотчас после обеда куда-то ушел.

Сестра и оба брата доели обед молча; потом братья ушли. Пелагея Прохоровна прилегла было немного, но ей сделалось страшно скучно. Она отправилась к хозяйке, которая в это время уже лежала на печи, а дети ее, кроме Марьи, играли в карты.

- А што же братья? – спросила Лизавета Елизаровна.
- Ушли.

Но она ничего не сказала о сцене за обедом.

- Я вот прошу мамоньку, шtbody чтобы вечерку нам устроить... – начала Лизавета.
- Толкуй еще! – проговорила мать с печи.
- Ну, мамонька! Люди устроят, а нам отчего не устроить.
- Не выдумывай.

Лизавета Елизаровна дала госте горсть орехов, и они стали играть на орехи. Пришел Григорий Прохорыч.

- Непременно куплю себе коньки! Все катаются, – сказал он.
- Голову сломишь. А угощение принес? – спросила Лизавета Елизаровна.
- Какое?
- Невежа. А еще в городе жил. Убирайся!
- Григорья Прохорыча не принимали играть.
- Дайте, нето, займы денег! – стал просить Григорий Прохорыч.
- Хорош мужчина; у хозяев денег просит на угощение. Степан, гони его!
- Лизка, не дури! – проговорила с печи мать.
- Не твое дело, мамонька. Спи там.
- Дадите вы уснуть!

Мать слезла с печи и уселась тоже играть в карты; Григорий Прохорыч был принят.

Горюнов между тем вошел в одно питейное заведение, которое по случаю праздника было битком набито рабочими. Но пьяных в нем не было еще ни одного человека, потому что все пришли сюда только что после обеда покалякать или провести весело время. Хозяин заведения не был в претензии за то, что никто не брал водки, а только курил махорку. Он знал, что чем больше будет в его заведении посетителей, тем больше будет к вечеру выручки. Рабочие толковали о разных делах, обращаясь часто за подтверждением своих мнений к хозяину; двое насвистывали слегка; двое тоже слегка наигрывали на гармонике, один играл на балалайке, но никто никому не мешал, потому что если разговор касался держащего в руках гармонику, то он громко отвечал, не выпуская из рук гармоники.

– Што, говорят, Назарко тебя надул? – спросил один рабочий, обращаясь к Горюнову, когда тот вошел.

- А ты почему знаешь?
- Это не секрет. Тут, братец, шила в мешке не утаишь. Што ж ты теперь думаешь делать?
- Подожду еще неделю, тогда...
- Тогда они скажут: покорно благодарим. Задаром-де служили нашей милости...
- Хоть ты и заводской человек, а практики у тебя ни на грош нет!
- Чево ты толкуешь? Какую такую ты еще механику выдумал? – прокричал другой рабочий.
- Уговорить других: не хотим-де за эту цену робить!
- Дурак! Да он тебя прогонит. Разе мало нашего брата, што без работы шляются? Разе ныне мало развелось нищих?
- А отчего? Оттого, что мы сами плохи.
- Как?
- А так. Нету у нас согласия. Так-ту мы по отдельности тараторим, а сбри нас всех, и сало во рту застыло.
- Народ загалдил.
- Коснись дело до тебя, ты первый лыжи дашь!
- Что ж, мне одному в петлю лезти? Один в поле не воин. А вот мы даже насчет платы не можем сговориться! Што сказано в положении-то: рабочие должны выбирать старост, а где они, старосты?
- Поди-ко, сунься!
- Нет, можно бы собраться хоть сотне-другой и выбрать припасного, смотрителя...



– Што ты толкуешь, братец, – выбрать!.. Тебя еще, верно, не дирали хорошенько-то. Помнишь ли ты прошлогоднее дело?

– А кто им велел барки рубить да муку топить?

– Так и следовало!

– Вовсе не так. Собраться всем селом к управляющему и требовать платы.

Эти рассуждения продолжались еще долго, и расписывать их нет никакой надобности, потому что они решительно не приводили рабочих ни к какой цели. Дело в том, что согласия между рабочими не существовало, потому что они работали на разных варницах, принадлежащих разным господам, и жили дружно только с теми, которые работают с ними вместе и которые горой стоят за товарища. А так как на одних промыслах было несколько лучше других промыслов и требования первых были больше последних, то последние, завидуя первым, были недовольны ими, говоря, что они заботятся больше о себе, чем о товарищах, только работающих от них отдельно. Кроме этого, одни из рабочих были слишком робки; они привыкли сносить все терпеливо, и если у них спрашивали мнения, то они, наученные опытом, ничего не могли посоветовать, находя все толки бесполезными; другие старались как-нибудь подделаться к какому-нибудь мелкому начальнику из-за личной выгоды, третьи, поправившись немного выгодною женитьбою, только в своей компании были бойки. Молодежь была, конечно, смелее, ей бояться было нечего, но так как она не могла обходиться без любви, увлекалась девушками и женщинами, то и от нее, то есть от всей сельской молодежи, нечего было добиваться единодушия, если одна половина ее ревновала другую к предметам своей любви. При этом надо еще взять во внимание то, что рабочие живут в селе в нескольких улицах или порядках, носящих названия, соответственные или местности, или какой-нибудь личности, или данные какому-нибудь событию, и в них православные смешиваются с единоверцами и отчаянными раскольниками, которые только в частности заботятся о себе, о своих родных и партиях. Поэтому если бы и пришлось потребовать голоса от всех рабочих всего села, то разногласия вышла бы большая, и у начальства не достало бы терпения выслушать мнение каждой партии, каждого промысла еще и потому, что это начальство делилось на несколько лиц, из коих каждое оберегало свой пост, защищая интересы своего хозяина, враждебно относясь к другому лицу.

Споры, как водится, прекратились за выпивкой водки по стакану. Несколько человек хотели было возобновить их, но нашлись другие разговоры – о женщинах, о том, сколько бы можно было при постоянной работе выварить соли; что можно бы было устроить варницы каменные, а не деревянные, потому что деревянные легче сторают, отчего уменьшаются работы. Говорили о том, что можно бы было по всему берегу сделать такие же набережные, как против собора, для того, чтобы село не затопляло, а то выстроили набережную для бар, а рабочих ходить туда по вечерам не пускают, будто они невесть какие воры. Много было говорено в заведении; много было сказано хорошего, практического, до чего иному барину пришлось бы долго додумываться. В этом заведении редкий человек не был практическим человеком, приобретшим практику долголетним опытом, работою на варницах, где он развивался с детства около добывания и обработывания соли, но тем и закончивалось его умственное развитие, и он ничего уже больше не мог выдумать кроме того, что лошадей в насосах можно бы было заменить какою-нибудь машиною, как это устроено на пароходах, что если и существуют еще коноводки, большие барки, сплавляемые с солью, действующие посредством лошадей, так для того, чтобы хозяевам и их главным помощникам сберечь в свою пользу капитал. Но и эти разговоры были не больше не меньше как препровождение времени.

Терентий Иваныч не удивлялся понятливости рабочих, находя их даже развитее своих терентьевцев. Но чем больше разговаривали рабочие, тем больше Горюнову казалось, что он здесь человек лишний, так как всякому рабочему хотелось бы занять его место, и что те же рабочие издеваются над ним, потому что смотритель хочет пользоваться даровыми деньгами,

назначив в уставщики человека, незнакомого с соляным делом, такого, который еще не умеет воровать.

Рабочие мало-помалу оживлялись более и более. Хотя теперь и играли уже на гармониках, как следует, но эту музыку заглушали крики рабочих, которые, начиная хмелеть, уже ругались, задирая на драку. Горюнов взял гармонику и начал играть. Он, как прежде, старался привлечь публику своей игрой, но так как он играл песни заводские, то на его игру никто и не обратил внимания. Пришлось возвратить гармонику.

– Што ж ты нас не потчуеть! – подошедши к Горюнову, сказал рослый черноволосый рабочий.

– Рад бы угостить, да не на что.

– А зачем даром служишь?

К Горюнову подошло человек шесть.

– Мы и в крепости состояли, даром-то не служили. А ты пришел, бог знает, откуда...

– Ты этим наш кредит подрываешь!

– И нам не станут платить из-за тебя, – кричали рабочие.

– Кто вам говорит, што я даром работаю? – спросил Горюнов.

– Сам ты говорил, што Назарко не дал тебе денег.

– Даст.

– Не даст, помяни меня: он не тебя одного надувает.

– А вот што: коли храбер, подем с нами теперь к нему.

– Нет, братцы, я теперь не пойду. Идти придется рекой.

– Ты нас за кого считаешь?

Начался крик. Горюнова стали бить, но в это время в заведение вошел Ульянов с мужчиной в полушубке.

– Стой!! Команду слушай! Братцы! Поберегитесь – сила! – кричал Ульянов навеселе.

Рабочие затихли и подступили к Ульянову.

– Прощайте, братцы! Прощай, моя служба!

– С ума сошел, Ульянов! – кричали рабочие.

– Глядите, как нализался! Дай-ко, Фадей, ему косуху!

– Я вас потчую... Фадей, полуштоф!.. Кон-ченно!!.. – И Ульянов крепко ударил рукой о стойку, так что посуда на полках задребезжала.

Рабочие хохотали, ругали Ульянова шутя, и сколько ни допытывались от него сути, он ничего не сказал никому, кроме Горюнова, которому сказал на ухо, что завтра, чем свет, он идет на прииски, и если Горюнов хочет, то он его приглашает с собой.

– Послушай, брат, тулуп-то у тебя хорош; только если пойдем, он тебе будет мешать. Променяемся, – проговорил вошедший с Ульяновым мужчина Горюнову.

Ульянов угощал своих приятелей, и поэтому на Горюнова и вошедшего мужчину не обращали внимания.

– Ты не беспокойся. Я, братец ты мой, подрядил Ульянова на прииски и тебя подряджу. Хоть сейчас пять рублей задатку, – говорил мужчина.

– Об этом мы потолкуем завтра.

– Завтра надо ехать... А вот тулуп-то я бы у те взял.

– Как же без тулупа?

– Ох ты, кайло! Ну, променяемся. Пять рублей придачи!

– Десять!

– Шесть!

– Семь!

Горюнов променял свой тулуп на полушубок и получил придачи шесть с полтиной.

Немного погодя Ульянов, Горюнов и мужчина вышли из заведения.

– Ну, други, решено? – спросил мужчина по выходе из заведения.

– Я плохо што-то понимаю, – сказал Горюнов.

– Узнаем всё – не покаешься, – сказал Ульянов.

– Уговор такой: никому не говорить, куда мы идем, и никого больше не брать, – сказал мужчина.

– Ну, так завтра мы к тебе придем в заутреню.

– Ладно. Прощайте. Помните: никому не говорить! – И мужчина пошел налево; Горюнов с Ульяновым пошли направо.

Дорогой Ульянов вполголоса рассказал Горюнову, что этот человек кум его кумы, Кирпичников, которого он не видал годов пять и о котором не имел никакого известия. Теперь он встретил его у кумы и узнал, что он ездил с приисков к одному купцу, которому обязался разыскать какой-нибудь прииск, и находится на одном прииске доверенным. Ульянов стал соблазновать о своей жизни, и Кирпичников предложил ему работу на прииске с платою в месяц по пятнадцати рублей и согласился принять даже Горюнова за ту же плату, как человека грамотного, который может ему сводить счета. Эту плату он обещал дать только на первый раз. Ульянов заикнулся было о семействах, своем и Горюнова, но Кирпичников сказал, что семейство и здесь может жить, а что туда идти далеко, и хорошо еще, уживутся ли они там с беглыми.

Дома, ложась спать, они ничего не сказали своим семействам о предстоящей поездке. Но утром без сцены у Ульянова не обошлось.

Ульянов пробудился в четвертом часу, встал и зажег лучину, что удивило Степаниду Власовну.

– Ну, хозяйка, ставай благословясь. Далеко сегодня пойду.

– Будь ты проклятая, хвастуша, – отвечала хозяйка и отвернулась к стене.

– Кроме шуток... На золотые иду.

– Наплевала бы я тебе!.. Еще не всю водку-то вылакал в кабаках!

Елизар Матвеевич стал собираться не на шутку в дальний путь. Жена следила за ним сперва прищурившись, но потом ее стало брать раздумье: неужели он так рано идет?.. У меня и хлеба-то для него не напечено...

– Как же ты на кордон без хлеба идешь?

– Шабаш! Деревья еще вчера куме продал. Баста!.. Ставай, говорю, кроме шуток.

Жена села и проговорила:

– Да ты чего?

– На золотые иду с Кирпичниковым.

– А он разве здесь?

– Вчера приехал к куме, а сегодня едем с ним.

– Да ты в своем ли уме-то?

– У тебя, што ли, стану займовать?

Жена все еще не верила.

– Да ты это взаболь али...

– Ну-ну! На вот тебе десять рублей, – сказал Ульянов, подавая жене деньги, и постучал в стену к Горюнову.

Оттуда послышался голос Терентия Иваныча:

– Сейчас!

Дети Ульянова, кроме Марьи, тоже пробудились и глядели на родителей.

– Ты, тятенька! Как же это?.. Ничего не еказал... – проговорила Лизавета Елизаровна.

– Тятка, я с тобой! – сказал Степан.

– Давно я знала, што это твое знакомство с Машкой до добра не доведет... Подлый ты человек! – проговорила Степанида Власовна.

– Послушай...

– Нечего мне слушать!.. Дети на возрасте, сами должны иметь понятие... Што, небось, и Машку с собой берешь?

– Послушай, жена...

– Убирайся, подлая рожа!.. Господи! И зачем я за эдакого подлеца вышла замуж? – заплакала жена.

– Мамонька... – сказала дочь.

– Кроме горя, ничего не было... Ну, чем я кормиться-то буду? Че-е-м?

– Прокормишься... дети прокормят...

– Хорошо отец, што семейство бросает... Кормитесь, говорит, сами...

– Дура ты, и больше ничего! Прощай, мила дочка!.. Хорошо будет, я приеду за вами.

– Да ты, тятенька, не шутишь?

– Я, знаешь, не люблю шутить... Береги мать...

– Нечего меня беречь. Меня хорошие люди накормят, а дочь мне не кормилица... Я знаю, што она...

– Мамонька! – крикнула дочь в испуге и упала на колени перед матерью.

– Это еще што такое? Што за комедьи? – спросил Елизар Матвеич в недоумении.

– Ты бы дочь-то наперед устроил, а то куда мне с ней, с...

– А-а! В матушку, значит, пошла!

– И батюшко-то хорош!..

Елизар Матвеич сел в большом волнении на лавку. Его лицо выражало и горе, и злость, но он старался преодолеть себя. До сих пор он еще не знал, что его дочь беременна, что не редкость в селе, на промыслах, где девчонки часто, особенно летом, увлекаются молодыми парнями и даже зрителями и припасными. Ему досадно было, что он об этом не узнал раньше... Но что бы он мог сделать тогда?.. Ему и противны казались в это время жена и дочь, но ему и жалко было их, жалко было покидать свой дом, потому что бог знает, что может случиться в его отсутствие. Жена и дочь плакали, сидя первая на кровати, вторая на печке, куда она спряталась из боязни, чтобы отец не сделал ей что-нибудь худое; Степан, сидя на полатах около лежащего Никиты, смотрел то на родителей, то на сестру, думая, что такое сделала сестра; Никита тупо глядел на всех, ковыряя пальцем в носу, и готов был заплакать каждую минуту.

Вдруг все вздрогнули. Кто-то шел на крыльцо, отчего ступеньки скрипели.

– Ну... Делать нечего. Слово дал, – нельзя. Собирайтесь.

В избу вошли: Горюнов, Пелагея Прохоровна и два ее брата. Пелагея Прохоровна плакала. Дети Ульянова слезли с печи и полатей.

Теперь всем стало ясно, что Ульянов не шутит, но ни вошедшие, ни хозяйка ничего не проговорили друг другу.

– Сядьте, – сказал Ульянов.

Все сели. Женщины заплакали, парни смотрели друг на друга, стараясь не плакать; но эта немая сцена пробрала даже и отцов: даже они утерли по разу ладонями свои глаза и, как бы устыдившись этого, встали. За ними встали и остальные.

– Ну, хозяйка, прощай! Не поминай меня лихом... А ты, мила дочка... Эх! не думал я, не думал! Ну, Степка! Взял бы я тебя с собой, да сам не знаю еще, хорошо ли там. А вы не баловать у меня, слушаться старших... Эх, горе, горе! – говорил хозяин, целуясь с женой и детьми, которые рыдали, да и сам Ульянов плакал.

– Прощай, Степанида Власовна. Покорно благодарю за ласки... Моих-то не обидь. Будьте вместе... – говорил Терентий Иваныч, прощаясь с хозяйкой.

Ульянов и Горюнов вышли: за ними вышли семейства и стояли за воротами до тех пор, пока тех не стало видно в темноте.

## VIII. Разорение

Степанида Власовна была оскорблена. Ее бесило то, что мысль о золотых приисках подала мужу не она, а, как ей думалось, торговка Машка, или Марья Оглоблина, с которой она подозревала Елизара Матвейча в связи.

Забрав себе это в голову, Степанида Власовна в Оглоблиной уже видела непримиримейшего врага своего и старалась всячески нанести ей какую-нибудь обиду и словом и делом.

На первых порах она отправилась на кордон – удостовериться в том, действительно ли ее муж продал лес Оглоблиной. Увидала она вот что.

Перед входом в шалаш был разведен огонь, но, как видно, он был разведен давно, потому что дрова уже догорали и легкий дымок едва заметно развевался ветром в разные стороны. В шалаше она нашла чью-то котомку, худые рукавицы и кусок ржаного хлеба. Значит, здесь уже хозяйничали чужие люди, – здесь, в том самом шалаше, в котором ее муж жил десять лет, командуя над лесом и собирая гривны с порубщиков, где она не одну ночь провела в продолжение десяти лет... Обидно сделалось Степаниде Власовне... Она сразу почувствовала, что и воздух в шалаше иной и она точно невесть куда забралась. И слышится ей стук топоров и ширканья пил, чего она во все десятилетие не слыхала около шалаша.

Нарушилось спокойствие леса, настало варварское разорение, и все это по милости Машки Оглоблиной, которую она не дальше как прошлым летом, в именины мужа, первого августа, на полянке между шалашом и лесом угощала пивом и пирогом с малиною!..

Вышла она из шалаша и стала смотреть по сторонам. Направо стоят двои дровней, на каждые положено по два длинных бревна; недалеко от них крестьянин в рубахе обчищает бревно от сучков, другой, в полушубке, так и хлещет топором в дерево, которое только как будто вздрагивает немного; третий уже наклак целый воз долготья и все еще накладывает, ругая мальчугана за то, что он еле-еле шевелится; налево стоят трое дровней, и около них тоже идет потеха... А на том самом месте, где в третьем году Степанида Власовна нашла много рыжиков, двое – по-видимому, мастеровых – пилят за раз две березы...

– Мошенники! Варвары!! Кто вам позволил хозяйничать здесь? – прокричала, не помня себя от злости и обиды, Степанида Власовна и подбежала к пильщикам.

Те поглядели на нее, захохотали и ничего не сказали, продолжая свою работу.

– Откуда это явилась? – проговорил крестьянин, увязывающий воз с долготьем.

– Да кто вам позволил, говорю, лес рубить? – кричала Ульянова.

Порубщики захохотали и начали отпускать на ее счет насмешки и сарказмы.

– Да ты-то кто такая? – спросил ее один из порубщиков.

– Не узнали?! Теперь и знать не хотите, а прежде боялись...

– Глядите, баба чья-то с цепи сорвалась!

– Связать ее надо – искушает.

Степанида Власовна разъярилась, но скоро заметила, что чем больше она ругается, тем больше смешит порубщиков, которые нарочно еще старались разозлить ее. Но двое порубщиков знали ее, их очень удивляло присутствие здесь жены Ульянова.

– Послушай! Тебе чего здесь надо? – спросил ее серьезно порубщик, подошедши к ней с угрожающим видом.

– А то и надо, што я не дозволю рубить лес, не дозволю!! – кричала Степанида Власовна.

– Хо-хо! Видно, ноне баб стали приделывать в полесовщики? А есть ли у те форма? – начали острить над Ульяновой порубщики.

Степанида Власовна совсем растерялась. Она не знала, что ей еще сказать порубщикам; она даже забыла, зачем она пришла сюда!

– Хорошо! Я не я буду, што не пожалуюсь на вас! – сказала она и пошла домой.

– Свяжемте ее, ребята!  
– Пожалуй; штобы худа не было, всамделе?  
– Стоит с бабой связываться! Не видите, что ли, што она полоумная! И без нас околеет дорогой.

– Ну, нет. По-моему, надо допросить ее. Эй, тетка, иди-ко сюда!  
Степанида Власовна, ускорившая шаги от первых слов порубщиков, теперь остановилась.  
– Иди, говорят, сюда. Может, ись хошь?  
Степанида Власовна, успокоившись, что порубщики ей ничем не угрожают, подошла к ним.

– Послушай, тетка, ты зачем пришла сюда?  
– Я к мужу пришла на кордон...  
– Ай, врешь! Твоего мужа, коли он Ульянов, уж нет теперь, и тебе это должно быть известно.

– Связать ее да зашибить!..  
– А вот я зачем пришла... Правда ли, што Ульянов продал лес Машке Оглоблиной?  
– Мы почем знаем... А тебе што из эвтого?  
– А то и дело, што Оглоблиха похваляется этим передо мной.  
– Ну, значит, ты дура, што веришь этому.

Порубщики поехали – кто направо, кто налево. Степанида Власовна пошла за возом с дровами и всячески старалась выпытать от порубщика, действительно ли Ульянов продал лес Оглоблиной, но тот отмалчивался.

Пришла она в село, рассказала Пелагее Прохоровне о виденном и заплакала.

– Нет, – говорила она, – я не попущусь! Я пойду к лесничему.  
– Чтобы худо не было, мамонька, – сказала дочь.

Однако Степанида Власовна пошла к лесничему и сказала, что ее муж неизвестно куда скрылся. Пришла она на кордон и видит, мужики рубят лес без разбора. Спросила она о муже, те сказали: спроси, говорят, у торговки Марьи Оглоблиной. Теперь, говорят, уже не Ульянов караульщик, а Машка Оглоблина; она нам и лес продала.

Лесничий плохо понял жалобу Ульяновой и через неделю поехал осматривать лес. Потребовал Ульянова; Ульянова не оказалось, а в дистанции его много оказалось порублено лесу. Притянули к суду жену. Степанида Власовна повторила свою жалобу. Потянули и Оглоблину, но та отперлась не только от того, что давала деньги Ульянову за лес, но и от всякого знакомства с ним. Она говорила:

– Ходить, может быть, он ходил ко мне за калачами, потому ко мне много ходят. А што если его жена приплела меня в это дело, кумовства ради, – так по одной злобе и потому, что-де легче на куму свалить всю беду... А имела ли я право покупать и продавать лес, так это в ее безмозглую голову могла зайти такая дурь.

Завязалось дело: было спрошено множество разных крестьян и мастеровых, но остался по делу виноват один Ульянов, а так как его в селе не было, то у него и описали дом и все его имущество и стали гнать из дома его жену и жильцов. Скоро нашелся и покупатель. Купив дом, он пустил за деньги на квартиру Ульяновых с Мокроносовой и Горюновыми.

Все это обделалось в два месяца после отсутствия Елизара Матвеевича, и все в селе говорили, что о продаже дома Ульяновых особенно хлопотала вдова Оглоблина за то, что Степанида Власовна не хотела покориться ей, не хотела извиниться перед нею за нанесенные ею Оглоблиной оскорбления.

Можно себе представить гнев госпожи Ульяновой, когда она, вскоре по въезде в ее дом нового хозяина, узнала, что Оглоблина исчезла из села. Ульянова нарочно сходила в ту улицу, где жила Оглоблина, и увидала, что в ее дом въезжает ее племянник из Демьяновского селения.

– Хоть бы узнать мне, куда мой муж спроважен! Уж я пошла бы туда.

Теперь Степанида Власовна казалась помешанною не на шутку: она целый день с утра и до вечера бродила то на промыслах, то на рынке и все выпрашивала, нейдет ли кто на золотые.

## IX. Признание Лизаветы Елизаровны

Со времени отъезда Ульянова и Горюнова Пелагея Прохоровна с каждым днем все больше и больше сближалась с Лизаветой Елизаровной. Пока еще был здесь дядя, она могла гордиться им, человеком, попавшим в уставщики, – значит, имеющим кое-какое значение на промыслах; но теперь, когда дядя исчез, она очутилась совершенно одна с братьями. Но что ей братья? Братья хотят жить сами для себя, и от них не жди помощи. Вон даже когда дядя подарил ей пять рублей, Григорий стал укорять ее в том, что ее больше любят, и деньги следовало бы дать не ей, а им. Чтобы отвязаться от братьев, она отдала эти деньги Григорью, который ей за это и спасибо не сказал. Отдала она деньги и стала горевать, ругая себя глупой. «Ведь мне с этими деньгами можно бы было дойти до города!» – думала она на первых порах. Но как она пойдет в город одна, не зная дороги? Еще нападут на нее, ограбят и бог знает что сделают с ней. Другое дело, если бы она была пожилая женщина. Но и не это еще удерживало ее в селе: она дожидалась известия Короваева. Уйди она из села – и не узнает ничего о Короваеве, о котором она думала теперь больше прежнего, зная, что он любит ее и не хочет жениться на ней зря.

Сознавая, что она здесь чужая, она рада была поговорить с кем-нибудь от души. Но говорить было не с кем, кроме Лизаветы Елизаровны. Лизавета Елизаровна тоже рада была своей соседке и старалась раскрыть перед ней свои тайны, надеясь на то, что она ее не выдаст, потому что Пелагея Прохоровна не ищет знакомства с другими женщинами и вообще женщина молчаливая. И они скоро сошлись, понравились друг другу и стали приятельницами. Хотя Пелагея Прохоровна и много странного находила в поведении своей подруги, но приходила к тому заключению, что здешняя жизнь не похожа на заводскую в том отношении, что там девушки до выхода замуж большею частью живут дома, и если знакомятся с парнями, то в церкви, на гуляньях и на вечорках, – здесь же они рано сталкиваются с мужчинами и парнями на промыслах. По промысловым понятиям ничего не было странного в том, если пары заходили слишком далеко и девушка делалась беременною, потому что скоро после беременности она выходила замуж. Но Лизавета Елизаровна не говорила о своей беременности. Однако же Пелагея Прохоровна стала замечать, что Лизавета Елизаровна дуется на одного парня, который любезничает с черноволосой невысокой девицей и носит за нее соль, и при этом парне старается оказывать большие ласки Григорью Прохорычу, который от парня получает насмешки и угрозы. Ясно казалось Пелагее Прохоровне, что или парень разобидел чем-нибудь Лизавету Елизаровну, или Лизавета Елизаровна разобидела парня. Пелагее Прохоровне, со свойственной женщинам любознательностью, хотелось расспросить свою подругу об этом, но было неловко начинать прямо, и она только намекала на парня; но та или сердилась, или отмалчивалась.

Дело в том, что Лизавета Елизаровна была гордая девушка. Она требовала, чтобы тот, который любит ее, исполнял малейшие ее капризы; например – уронит она с лестницы платок, Ванька Зубарев должен сходить за ним; нужны ей к празднику сережки – Ванька Зубарев должен купить их, хотя бы и в десять копеек. Ванька Зубарев хороводился с ней полтора года и целый год угождал ей беспрекословно. Сперва, конечно, поломается, погрызается, но все-таки исполнит приказ Лизаветы Елизаровны. Никто так не мог угодить Лизавете Елизаровне, как он, и зато как было хорошо и весело с ним, особенно летом! Хотя Зубаревы и жили в Демьянове, только Иван Демьяныч работал на Моргуновских промыслах, потому что на них было больше требования на рабочих и плату давали больше на целых десять копеек против Притыкинских промыслов. У него была своя лодка, в которой он каждый летний день переплывал два раза речку Улью и в которой после работы катал и Лизавету Елизаровну. Очень любил Зубарев Лизу Ульянову, и та любила его, как только может любить шестнадцатилетняя промысловая девушка, дочь бедных родителей. Бывало, сидят они ночью в лодке обнявшись, а лодка плывет как попало по течению, и далеко так уплывут они; случалось ворочаться им домой верст из-за



пятнадцати, и тогда Зубарев или пластался на веслах, или шел бечевой, а Лизавета Елизаровна правила на корме веслом, подсмеиваясь над возлюбленным. Случалось возвращаться им и в грозу, и тогда Лизавета Елизаровна, сидя на берегу с Зубаревым под опрокинутой лодкой, от страха молила всех угодников, каялась в грехах и клялась, что она в последний раз плавает с Зубаревым. На промыслах, само собою разумеется, все знали про связь Лизаветы Елизаровны с Иваном Зубаревым и не обращали внимания на них, потому что у каждого или у каждой были любовницы или любовники; мать тоже знала, что Зубарев ухаживает за ее дочерью, и, думая по себе, что он на ней женится, не очень бранила ее за поздние возвращения домой; отец же, живя на кордоне, конечно, ничего не знал, а если и замечал отсутствие дочери, то удовлетворялся каким-нибудь ответом своей жены. Все шло хорошо около года, а потом Лизавета Елизаровна стала замечать, что Иван Зубарев стал холоднее с нею, меньше исполнял ее прихоти и капризы. И случалось это с ним с тех пор, как они были в чаще леса, где провели всю ночь с полным удовольствием. Правда, после этого Лизавета Елизаровна сильно привязалась к Ивану Зубареву и в первое время из гордой девушки сделалась до того кроткой, что позволяла прикрикивать на нее Зубареву, исполняла его приказания; но потом заметила, что Зубарев не только взял над ней верх, но и обращение его с нею стало уже не то: точно она ему надоела. И вот стала она замечать, что Зубарев реже показывается на промыслах, а если и придет, так дожидается, чтобы она его из милости попросила поносить соль. Наконец он ее весьма оскорбил: снес два мешка соли и ушел, а немного погодя стал носить соль за другую девуцу.

У Лизаветы Елизаровны, как она увидела это, чуть мешок с солью не свалился с плеч, и она сама не помнит, как она доносила до вечера соль, получила расчет и пришла домой раньше обыкновенного, так что мать ее, не носившая в этот день соли по нездоровью, удивилась и спросила:

– Али Зубарев не был?

Но Лизавета Елизаровна ничего не сказала. Она никак не могла понять поведения Ивана Зубарева. Этот человек так любил ее, так много обещал ей впереди хорошего, обещался после рождества жениться на ней, а как прошел Екатеринин день, вдруг выкидывает с нею такую штуку. Это что-нибудь да значит. Хотелось ей переговорить с Зубаревым, но он целую неделю не являлся на промыслы, а на другой неделе на всех промыслах не было работы для женщин. На третьей неделе об этом парне заметила Лизавете Елизаровне Пелагея Прохоровна. Тогда Лизавета Елизаровна думала, что Зубарев подойдет к ней, возьмет ее мешок, но он как будто сам хотел, чтобы Лизавета Елизаровна поклонилась ему. Когда Григорий Прохорыч понес за нее соль, хотелось Лизавете Елизаровне поговорить с ним, высказать ему, что она беременна, – но не время было, а вызвать Зубарева в другое место во время рабочее неприлично, потому что таких примеров еще не бывало на промыслах.

Григорий Прохорыч видал девушек и красивее Лизаветы Елизаровны; он уже два раза был влюблен и в последний раз даже хотел жениться на любовнице приказчика, у которого он был лакеем; но вместо женитьбы угодил в острог по обвинению его в краже вещей, а его невеста задавилась – не от любви к нему, а не желая более переносить каторжную жизнь. Острог его не испортил, так как он из него скоро был выпущен по просьбе приказчика, имевшего обыкновение прощать всех своих врагов в свои именины, но научил смотреть на жизнь более практически, чем прежде. Еще бывши в остроге, он поклялся не увлекаться девками, не слушать ихних любезностей, но, встретившись с Лизаветой Елизаровной, он не мог устоять. Она с первого же дня огорошила его, задев его самолюбие пустяком – неумением расколоть сучковатое полено. Столкнувшись на промыслах с женщинами, он, как молодой человек, не мог не вглядываться в них и не вслушиваться в их слова. Как он ни крепился, как ни заключал по-своему, что все эти бабы и девки отчаянные, но кровь в нем волновалась, и ему нравилось употреблять в дело щипки. Не зная никаких отношений между девицею Ульяновою и парнем, погрозившимся обломать ему ноги, он думал, что Лизавета Елизаровна легко ему достанется.

Но не так вышло на самом деле. Еще в воскресенье, перед отъездом дяди, он очень разыгрался с Лизаветой Елизаровной, и когда она вышла зачем-то в сени, то догнал ее, обнял, но получил за это такую пощечину, что ему долго было совестно показаться на глаза перед Лизаветой Елизаровной, да и она сама, завидя его во дворе, отворачивалась от него и уходила скорее домой.

Наступило рождество – и прошло весьма скучно в обоих семействах. Лизавета Елизаровна очень редко заходила к Горюновым, и то в такое время, когда Григорья Прохорыча не было дома, а Пелагея Прохоровна, узнавая, что брат ее сделал глупость, и не настаивала на том, чтобы она ходила при брате. Прошли и святки скучно. Прежде, бывало, у Ульяновых перед крещеньем всегда вечерка устраивается, а нынче нет. Прежде отбоя нет от девиц: приходи ради Христа на вечерку, – нынче только разве на улице попадет Лизавете Елизаровне девушка и спросит: а што это ты не была на вечерке? – и тут же прибавляла: а Ваньку Зубаревского не видала? Братья, впрочем, ходили на вечерки, ходил и плясал на вечерках и Григорий Прохорыч, только к нему не благоволила ни одна девица, так как у каждой был свой кавалер, и каждый из этих кавалеров старался разругать девицу Ульянову для того, чтобы выжить из компании Гришку Горюнова, как пришлеца. Невесело было Григорью Прохорычу на этих вечерках, чужой он был на них, неприятно ему было слышать, как конфузят и обзывают девицу Ульянову, говоря даже про нее, что потому-де у них в доме, в приделе (в новой половине, где жил Григорий Прохорыч), нет вечерки, что Лизка брюхата и любовник ее бросил, так как она горда некстати и с пороком, – но обо всем слышанном там он ничего не говорил сестре.

В крещенский сочельник обе женщины гадали в новой половине. Пришел Григорий Прохорыч; гаданье прекратили.

– Погадайте на меня, – сказал он, подойдя к гадалыщцам.

– Не стоишь, – сказала Лизавета Елизаровна.

– Тебя, што ли, просят! Палагеюшка, погадай!

– Какой ты сегодня ласковый сделался!.. Гадай сам, – сказала Пелагея Прохоровна, отдавая поварешку брату, и обратилась к Лизавете Елизаровне: – Пойдем к тебе.

– И я с вами.

– Очень нужно! – сказала Лизавета Елизаровна.

– Важна уж что-то больно стала некстати!.. Послушала бы ты, што говорят-то про тебя!

– Ну, так што? Язык-то ведь без костей...

Подруги пошли к двери.

– Што мне, околевать, што ли, здесь!

Подруги захохотали и ушли.

Григорий Прохорыч бросил поварешку под лавку, потушил лучину и лег на печь. Брата дома не было: он со Степаном Ульяновым еще не приходил из села. Спать ему не хотелось, и он стал думать, может быть в тысячный раз, о том, как бы ему хорошо было найти где-нибудь клад и потом жениться... жениться на Лизке. Чем больше думал он о девице Ульяновой, тем больше она ему нравилась. Нравилась ему в ней ее гордость, ее речи, труд, и он ставил ее выше первых двух своих любовниц, из которых первая ничего не умела делать, а только хныкала; вторая, живя у приказчика, сделалась барышней и едва ли бы перенесла с ним тяжелую жизнь. А на Лизе жениться хорошо: она будет работать, и он тоже, да и дома строить не нужно. Тут мысли его приняли другой оборот: он находил себя ничтожным человеком в сравнении с Лизаветой Елизаровной; халатишко у него худой, починить его нечем да и не стоит: станет затягивать нитку – так рвется; полушубка нет, сапоги оборвались, подошвы на них отпадают, а новые купить не на что, потому что сестрины деньги он издержал по пустякам. «Вот сегодня у одного сапожника я украл шило и драгву выпросил, завтра надо будет починить как-нибудь. Опять кожи нет. Кабы было лето, можно где-нибудь найти в грязи или в назьму кусок кожи...»

Вдруг он услышал стук в стене от Ульяновых. Стал слушать. Еще стучали, и, кажется, сестра произнесла его имя.

– Не пойду! Сам хотел – обругали. А теперь не пойду. Не смейся горох, не лучше бобов! – проговорил про себя Григорий Прохорыч.

Его так и порывало идти к Ульяновым, но и не хотелось ему уступить. «Брюхо толще, так губа тоньше», – сказал сам себе Григорий Прохорыч и решил не идти, хотя бы они там все кулаки об стену отбили. Однако он не утерпел, слез с печки и, подошедши к стене, наставил левое ухо, чтобы услышать оттуда что-нибудь, но стена была бревенчатая; он слышал, что кто-то говорил, – и вдруг захохотали, сперва Ульянова девица, потом его сестра. «Это они надо мной смеются».

Опять смех.

«А черт с ними!.. Нечего мне там делать...»

И Григорий Прохорыч лег на печь, но лежать было скучно, хотелось идти; он злился и на себя, и на Лизавету Елизаровну, и на сестру.

Пришла сестра.

– Ты што же не пришел? – спросила она брата.

– Очень нужно.

– Ну, брюхо толще, так губа тоньше.

– Послушай, Палагея, што это она надо мной издевается?

– Кто?

– Кто?! Лизка!

– Да и как не издеваться над дураком. Зачем ты ее в сенях-то обхватил?

Григорий Прохорыч замолчал. Теперь ему стало понятно, что сестра его стала приятельницей Лизаветы Елизаровны.

– А што, Палагея, как ты думаешь, пойдет она за меня? – спросил вдруг брат сестру, когда та уже стала засыпать.

– Выдумывай.

– Нет, всамделе!

– Спи-ко лучше. Скоро утро.

Легли спать. Пелагея Прохоровна заснула скоро, но Григорий Прохорыч не мог заснуть. Утром брат и сестра молчали: брат стыдился сестры, сестра что-то обдумывала. Григорий Прохорыч уселся за сапог около окна, повертел его: починить без кожи нельзя – как ни верти, а нужна заплатка.

– Поговоришь? – сказал вдруг дрожащим голосом брат сестре. Щеки его покраснели.

– И што ты это выдумал, брат! Какая она тебе ровня?

– А тебе што за ровня?

– Я другое дело... Говори сам... это твое дело.

– Как я буду говорить, коли она такая фря...

После обеда Пелагея Прохоровна зазвала к себе Лизавету Елизаровну. Лизавете Елизаровне, вероятно, уже было известно о намерении Григорья Прохорыча, потому что она поклонилась ему неловко, щеки покраснели более обыкновенного и голос ее был неровный.

Стали играть в карты. Все молчали. Каждый хотел что-то начать, но что-то удерживало. Наконец первая начала Лизавета Елизаровна.

– Какие нынче женихи-то молчаливые... – проговорила она, сдавая карты, как бы про себя.

Григорий Прохорыч покраснел, как рак, и не знал, что ему делать: сидеть или бежать?

Минут пять никто не промолвил слова.

– Женишок! Што же ты молчишь? – сказала вдруг Лизавета Елизаровна.

– Я... – сказал Григорий Прохорыч, вздрогнув.

Обе женщины захохотали.

– Хорош же ты будешь муженек, нечего сказать... Однако, Григорий Прохорыч, позвольте вас спросить: какие вы имеете на меня виды? – сказала уже серьезно Лизавета Елизаровна.

– Лизавета Елизаровна...

– Убирайся!!

И Лизавета Елизаровна, бросив карты, ушла от Пелагеи Прохоровны.

– Поди к ней, пока матери нет дома, – сказала сестра брату.

Брат послушался сестры.

Когда он пришел к Ульяновым, Лизавета Елизаровна, сидя у пялец, плакала и, казалось, не заметила вошедшего Горюнова, который остановился в дверях и не смел тронуться дальше.

– Лиза! – сказал он.

Лизавета Елизаровна вздрогнула.

– Зачем ты пришел? – крикнула она.

– Лизавета Елизаровна!.. Я люблю тебя.

Лизавета Елизаровна захохотала.

Григорий Прохорыч подошел к ней, обнял ее и поцеловал.

Она не сопротивлялась, но плакала.

– Голубчик Гриша! Ты мне нравишься... Но...

– Лизанька!.. – говорил Горюнов, прижимая Лизавету Елизаровну.

– Гриша!.. Я не хочу тебя обманывать... – говорила, рыдая, Лизавета Елизаровна.

– У! Дура! Ее целуют, а она плачет! Лиза, не смей плакать!.. – говорил шутя Григорий Прохорыч, утирая слезы с глаз и щек Лизаветы Елизаровны.

Лизавета Елизаровна боролась сама с собой, наконец встала и сказала:

– Подумал ли ты о том, што про меня говорят на промыслах и на вечорках?

– Што?

– Ты веришь тому, што говорят про меня?

– Нет.

– Так я тебе скажу: што про меня говорят – верно... Я говорю тебе потому, штобы ты знал и после не каялся, што я обманула тебя... Одна голова не бедна!.. Я себя с ребенком прокормлю как-нибудь, зато меня никто не укорит.

Григорий Прохорыч стоял, как оплеванный. Он не знал, шутит с ним Лизавета Елизаровна или говорит правду.

– Али ты не веришь моим словам? Поди спроси свою-то сестру, мне от нее нечего таить, да и тебя я не боюсь. Подумай-ка лучше о том, хорошо ли жениться на девушке с накладом?.. Хорошо ли получить в приданое ребенка?

Григорий Прохорыч стоял пораженный, не зная, что сказать.

Лизавета Елизаровна села за пяльцы, нагнулась и закрыла лицо руками. С четверть часа она сидела в таком положении, и когда открыла лицо, то увидала, что Григорий Прохорыч все еще стоял, разглядывая свою фуражку.

– Не веришь? – спросила Лизавета Елизаровна.

– Обманула ты меня... Тяжко ты меня обманула! – сказал он со вздохом.

– Я тебя не завлекала; ты добровольно носил за меня соль.

Григорий Прохорыч вышел. Пришедши домой, он швырнул в угол фуражку и сказал сестре:

– И тебе не стыдно!.. Будто я пятилетний ребенок, штобы меня так дурачить. Свины!

– Што, – верно, губа-то не дура!

– Молчи! Убью!!!

– Дурак!.. Только вы, мужчины, и хороши. Припомни-ка, не лебезил ли ты около Горбуновой.

– У-у!!.. Зме-я!.. – проговорил со злостью Григорий Прохорыч и, отыскав фуражку, вышел из избы.

## Х. Промысловый суд

Григорья Прохорыча ужасно разобидело то обстоятельство, что он влюбился в такую девушку, которая уже беременна. «Двух девок я любил, а такой штуки со мной не случилось... Хорошо еще, что она сама сказала», – думал он. Он теперь целые сутки терся на промыслах и терпеливо сносил насмешки молодых рабочих, которые смеялись над тем, что пришлец Гришка Горюнов хочет жениться на бывшей любовнице Ваньки Зубарева, и когда уж его выводили из терпения, он кричал, что они напрасно чешут языки, потому что он не дурак и даже не живет в ульяновском доме. Рабочие, видя, что Горюнов живет безвыходно на промыслах, даже на рынок не ходит, а покупает хлеб у торговков, приносящих хлеб на промысла, удивлялись его терпению и в то же время говорили, что Горюнова, вероятно, отщелкала Лизка Ульянова. Словом, Горюнову казалось, что рабочие всячески старались разбесить его. Все шло в таком порядке целую неделю, до тех пор, пока не открылось на варницах соленошение. К этому времени редкий холостой рабочий не знал о пороке Лизаветы Ульяновой, а знали все об этом от Марьи Оглоблиной.

Явились на промысла женщины, по обыкновению явились и мужчины, для того чтобы или пошалить, или самим попасть в работу с женщинами. Все голосили о семействе Ульяновых, и теперь было меньше спора о том, чтобы мужчины не работали с женщинами, потому что каждой хотелось узнать дело во всей подробности и выслушать мнение мужчин – и затем поругать мужчин за нанесенное женскому полу оскорбление.

Говоры шли разные по этому делу.

– Я давно замечала, што Лиза беременна, да молчала, – потому не мое дело.

– Потому, мол, сама беременна.

– Сука, дак и сука и есть!..

– Не правду, што ли, говорю! Скрывать-то, матушка, нечего. Ты знаешь пословицу: отец да мать не знают, а весь мир знает. Вот што! А вот это надо рассудить, што Лизка теперь?

– Не видать ее. Поди, не явится.

– Стыдно.

– Ну, она не такая!

– Слышала? Заводской Гришка за нее сватался!

– Слышала, да што-то он, говорят, все здесь живет. Должно быть, как узнал в чем дело, и на попятный.

– Смотрите, бабы и девки: заводского Гришку Горюнова в компанью не принимать.

– Тебе не надо, не принимай.

– Отсох бы у те язык-то. Говорят, Гришка этот зубаревскому примеру последовал!

– Сама первая, смотри, не бросься ему на шею.

– Слава богу, еще в рассудке.

– Вас слушать надо уши зажавши. Правду говорит пословица: две бабы – рынок, а три – так ярмонка.

– Известно: много голку, да мало толку!..

– Не суй перста в рот, – пожалуй, откусишь... А вы вот што скажите, умные головы: дело ли это – обмануть девку?

– Что ж такое! Мы пример с бар берем. Коли бара обманывают, нам и подавно можно.

– Не слушайте его, дурака. От него никогда не дожدهшься доброго слова.

– Зачем не дожждаться. Кричать-то только не для чего: известно, немного попетю, да навек надето.

– Хорошо. Теперь ты скажи: не обидно ли девке, если ее обманывают?

– А как же мужья-то умирают?

– Што с дураком и говорить!.. Осел, так осел и есть. Ты бы то подумал: што бы ты сказал, если бы твоя дочь родила?

– Я бы ее взашей!

– То-то и есть, чужое страхом огорожено; в чужих руках ломоть велик... Ох, вы! Ну, не мужское ли это дело – пристать за баб? Ведь вы с начальством-то хороводитесь, а не бабы.

– Поди, сунься, так двадцать пять и запросит.

Пришла Лизавета Елизаровна с Пелагеей Прохоровной. Все, как увидели ее, смолкли.

– Што-то не видать тебя давно, Елизаровна? С новой подругой спозналась, нас и знать не хочешь? Али замуж скоро выходишь? – кричали ближние женщины.

– Это уж мое дело! Лучше дома сидеть, чем слушать выкомуры.

– То-то, женишка-то нового подсылала подслушивать...

– Какого женишка?

– А Гришку-то.

– С чего вы взяли, што он мне жених? И не стыдно вам говорить-то!.. По себе, видно, судите...

– Хотела, видно, обмануть молодца, да не на таковского напала.

– Хоть бы не ты говорила, Офимья!.. Не тебя ли стыдили в прошлом годе!.. Я молчу. И какое вам дело, бабы, до меня? Экая важность, што я беременна! Будто уж девке и родить нельзя! Будто и за вами нет грехов... Я знаю, што делаю.

– Бесстыдница, так бесстыдница и есть! Ты бы мужчин-то постыдилась.

– Нечего мне их бояться. Один из них хотел же на мне жениться, не дальше, как в крещенье в ногах у меня валялся, а как я сказала ему, што я... ну, он и драло.

Женщины молчали.

– Это не заводской ли Гришка? – спросил мужчина.

– Ну, хоть бы и он, так вам-то што?

– Славно он нарезался.

Женщины вооружились против мужчин; мужчины доказывали, что никому неохота жениться на беременной, и стояли больше за свою братю. Но теперь все были вооружены против Ивана Зубарева. Все грозились, как только он покажется на промылах, свернуть ему голову; но Лизавета Елизаровна упросила не делать ему никакого вреда, потому что не стоит из-за него быть в ответе, а лучше сказать ему, чтобы он не смел больше показываться на промылах; приневоливать же его жениться на ней не надо, потому что он ей теперь противен.

Тем разговоры и кончились. Начали носить соль, и об утреннем разговоре никто не заводил речи, даже не говорили и о том, что Горюнов при входе женщин в варницу ушел, не поклонившись ни сестре, ни Лизавете Елизаровне. Хотя же сестра и спросила Панфила, куда ушел брат, но он ничего не мог сказать положительного. Григорий Прохорыч ушел в другие варницы. Он дал себе слово всячески стараться избегать встречи с Лизаветой Елизаровной, которую он любил, обнимал и которая так жестоко оскорбила его.

В полдень показался на промыслах Иван Зубарев. Он нерешительно шел к варнице, то и дело оглядываясь и озираясь по сторонам, как будто боялся, чтобы его не зашибли откуда-нибудь поленом. Он дошел благополучно до варницы, вошел в нее, постоял немного и подошел к одной девице, за которую в последнее время носил соль.

Та обругала его, упрекнула Ульяновой.

– Не хочешь ли ты и со мной такую же штуку сделать, как с ней? – сказала она и ушла.

– Гляди, бабы, – Зубарев! – начала Лизавета Елизаровна: – стоит, как оплеванный! На него никто и внимания не обращает, а он стоит... Спросите, чево ему надо еще?

Бабы заголосили, парни приняли угрожающий вид.

– Лучше уходи добром в свое село. Нам ты теперь, после твоих пакостей, не товарищ, – сказала одна девица.

Парни окружили Зубарева.

– Не троньте его!.. Я больше вас имею права бить его, да не хочу рук марать об этакую гадину... Посмотрим, удастся ли ему еще надуть такую дуру, как я, – проговорила Лизавета Елизаровна.

– Посмотрим: кто возьмет тебя замуж! – крикнул Зубарев.

Все заголосили, парни начали бить Зубарева, но Лизавета Елизаровна уняла их. Зубарев ушел, освищенный и обруганный.

– Теперь уж он и близко не подойдет к нашим промыслам, – говорили женщины, довольные своею храбростью.

– Ну, и нашим на Демьяновском не совсем ловко будет теперь, – проговорили парни.

О Зубареве можно сказать не много. Он был сын бедных родителей. Сперва он увлекся и полюбил девушку искренно. Но когда заметил, что она беременна, он ужаснулся своего поступка, думая, что его заставят жениться на Ульяновой, а отец выгонит его из дома. Он очень хорошо знал правила промысловых обычаев, что парень или мужчина, давший обещание девушке жениться на ней, должен был исполнить его, если она беременна от него. Отговорки не принимались. Лизавету Елизаровну он знал хорошо, но ему было неловко сказать ей, что ему не нравится ее беременность, и он стал думать, нельзя ли как-нибудь выпутаться из этого дела. Объяснил он это дело своей замужней сестре, сказав ей, что его невеста беременна, но, может быть, и не от него. Та посоветовала ему ходить пореже на Моргуновские промыслы, ревновать невесту к кому-нибудь. По ее совету и действовал Зубарев. После двухнедельного отсутствия он заметил, что за Лизавету Елизаровну носит соль другой парень, и этого было достаточно ему, чтобы заподозрить ее в неверности. Он не взялся помогать Лизавете Елизаровне и даже не поговорил с ней. Но он любил ее, ему жалко было ее, ему хотелось поговорить с ней; но гордость и подозрение, что она действительно, может быть, променяла его на заводского парня, удерживали его, да он и радовался, что на место его подвернулся другой парень. В этот день он шел на Моргуновские промыслы за тем, чтобы сказать Лизавете Елизаровне, что он давно следил за ней и узнал, что она ветреная, почему он с нею и не хочет быть больше знаком.



## XI. Материн сын

После этого события случилось то, что дом Ульяновых перешел во владение приписного Онуфриева, который до той поры не имел своего дома. Его нельзя было никак уговорить, чтобы он пообождал немного въезжать в дом. Он ничего не хотел слушать и очень скоро перетаскился со своим семейством, состоявшим из жены, сестры и пятерых детей, в старую половину, то есть в ту, где жили Ульяновы, потому что она была поместительнее новой, так как в ней была изба и комната. Новую половину он отдал в распоряжение Ульяновых с платою ему в месяц пятнадцати копеек и с тем, чтобы Ульяновы таскали на семейство Онуфриевых воду. Итак, Ульяновы поместились в новой половине с Пелагеей Прохоровной и ее братом Панфилом.

Теперь все хозяйство осталось на руках Лизаветы Елизаровны, которая никак не хотела, чтобы Пелагея Прохоровна считала себя хозяйкою. Степанида Власовна теперь совсем переменялась. Раньше она была строгою хозяйкою, требовала, чтобы у нее все было исправно, чисто, все лежало на своем месте; прежде рано истапливала печь, рано выпекались хлебы, и остальное время было занято или пряжею, или вязаньем, или тканьем. Теперь же, считая себя более прежнего обиженною и оскорбленною, она и в дочери, и в сыновьях, и в маленькой девочке подозревала врагов. Вставала она рано, будила всех рано и начинала ворчать, что ее все обидели, ни от кого ей нет почету, никто ее не хочет слушать.

– Да кто тебя, мамонька, не слушает? Все мы тебя любим, – скажет Лизавета Елизаровна.

– Это и видно. Я што говорила: не топи печь – дров нет...

– Это уж не твое дело. Не ты заботишься о дровах-то.

– Ну, вот! Я стала теперь не хозяйка в своем доме?.. То, бишь, выгнали... – И начинала она разводить историю о том, как она, по милости злых людей и неповиновения детей, дошла до такой бедности.

Выйдет Лизавета Елизаровна к корове. Корова тощая, есть хочет, а сена нет, купить не на что, украсть совестно, потому что и так уже сколько дней пробавлялись чужим сеном. Просто мука с одной этой коровой!.. Кабы она молока не давала – господь бы с ней... И ночь-то спокойно не заснешь; проснешься – корова на ум: «Как бы ее прокормить сегодня, как бы украсть где сена...» Думает-думает Лизавета Елизаровна – и полезет на поломанную телегу к соседнему сараю, засунет в щелку руку, пошарит-пошарит – труха одна. И хорошо еще, что никого сегодня нет там во дворе, а то ей не один раз уже приводилось слышать: «И какой это черт сено ворует? Сколько было сена – одна труха только теперь. Уж поймаю же я кого-нибудь из Ульяновых, шток у них отсохли руки!..»

– Мамонька! Уж продать бы, што ли, корову-то! Нечего ей есть-то.

– Ну, вот! Все я виновата во всем... Нет уж, поколею я, а корову не продам.

Делать нечего, пойдет Лизавета Елизаровна к соседям, кои подобрае, кои прежде побирались у Ульяновых. И чего, чего только она не выслушает от них? От одних слов убежал бы человек... Но не поколевать же корове из-за людских неприятностей? «Пусть говорят, что хотят, пусть конфузят и страмят нас, как хочут, – все снесу, только бы дали сена...» Зато как рада, с каким восторгом несет домой Лизавета Елизаровна охапку сена, точно она несет несметные сокровища... Зато во всем околотке про нее стали говорить: «Ни у кого нет такого бесстыдства, как у Лизки Ульяновой. Известно, отпетая... Ведь знает, что у нас не горы золота, а лезет. И только уж по человечеству жалко и животинку: потому чем бедная коровенка виновата, что ее морят голодом...»

А Степанида Власовна не понимала всего этого. И много, много было таких недостатков, через которые почти на каждом шагу приводилось получать Лизавете Елизаровне неприятности. Мать же если и сидела иногда целый день дома за пряжей или тканьем, то от нее житья не было: все ворчит и говорит вздор, а уйти некуда; да и когда мать дома, нужно больше хлеба;

мать требует шей, а если Лизавета Елизаровна говорит ей, что у них семья большая, дай бы бог, чтобы на всех до лета картофеля да свеклы хватило, так она начинает укорять ее женихом:

– Небось, брюхо нажила, а женишку поблажку дала!.. Нет, мы не так прежде дельвали.

– Хоть бы ты этого-то не говорила, мать! – взъестся Лизавета Елизаровна.

– Как я тебя начну щепать! Ты разве не моя дочь? Не я тебя вспоила, вскормила, на ноги поставила? Ну, дура же я была, што не швырнула с полатей тебя... Только бросить, мокренько бы стало.

– Мамонька! Да чем же я виновата!

– А! Теперь – дак чем виновата! Нет, матушка: коли кататься любишь, люби и саночки возить... Изволь теперь кормить меня.

«Мать права, – думает Лизавета Елизаровна. – Чем в самом деле она виновата, што я беременна? Какая мать в состоянии уберечь свою дочь на промыслах?.. Вот теперь я знаю, што от такого баловства можно нажать горе на всю жизнь, а тогда я и верить этому не хотела, потому что молода еще очень была... Если мать и ругала меня, я думала, она зла мне желает. А все же и она виновата: отчего бы матери лаской да с любовью не научить девчонку, как действовать, если парень умасливает девку? Отчего не сказать: бойся, мол, мила дочка, парней и до тех пор, как парень не женится на тебе, не спи с ним... Чем виновата мать, что у нас такая бедность? Ведь знает она, што ни я, ни Степан не сидим без дела, и все-таки наших денег не хватает на неделю. Чем и отец виноват был, если у него доходов не стало... И зачем она всю вину теперь на меня сваливает, зачем сама об своих детях не заботится?»

Семейство отдыхало, когда Степаниды Власовны не было Дома. Но и в это время у Лизаветы Елизаровны щемило сердце. «Лучше бы она не ходила, меньше бы говорили про нас». И действительно, Степанида Власовна ходила не за делом, не для работы, а так, бог знает зачем. На нее нашла апатия; делать ей ничего не хотелось; при виде знакомых она горячилась, подозревая их в отравлении ее, мужа ее и ее семейства... На улице, в домах, куда ее принимали из жалости, она не могла найти себе покоя. Дома ей было душно; ее семейство давило ее. И вот она стала попивать водку, и так крепко, что на нее уже нечего было надеяться.

Панфил жил очень дружно с Степаном. Хотя же они и ссорились часто, потому что во многом не сходились друг с другом, и дрались частенько из-за того, что который-нибудь из них воровал у друга кусок хлеба, надевал ботинки или фуражку, но если не было дома одного, другой скучал. Степан работал на вороту, то есть погонял лошадей, и за это получал платы за день десять копеек. Случалось, что он от устатка сваливался и сладко засыпал, но за это его колотили без пощады, не считая еще его за человека. Такая работа, впрочем, не всегда бывала, да и она мальчику очень надоедала, и поэтому он с охотой шел в варницы, и если там за броску дров в печь, за складку дров в поленницу или очистку снега откуда-нибудь на промыслах – ничего не давали, то он все-таки днем не шел домой, потому что ему дома бывало скучно, он отвыкал уже мало-помалу от дома и считал себя большим человеком, почему и не любил, чтобы его дома ругали. Поэтому часто случалось, что или Степан прибежит к Панфилу покурить табачку, погреться, или Панфил к Степану убежит от рабочих, которые за что-нибудь хотят бить его, или просто покалякать от скуки. А у Панфила новостей или рассказов было больше, потому что он терся с людьми, а Степан только около лошадей.

Раз Панфил приходил к Степану, который от нечего делать изошрялся попасть хворостинной в глаза которой-нибудь из лошадей. Увидя Панфила, Степан бросил хворостинку и подошел к нему. Лошади стали.

– Слышь, Степка, што мужики говорят: мы напрасно деньги-то отдаем дома.

– А им што за дело?

– Вы, говорят, дураки, уж не маленькие теперь. Сколько, говорят, вы ни принесете, все возьмут, а вам ничего не отдадут. Не надо, говорят, отдавать деньги. Лучше, говорят, на сапоги копить.

– Дурень! Как не отдать-то?

– А ты возьми и не отдай – не дали, мол... Я дак не отдам, потому сестра сама большая. Сама замужем была, и я ей больше не помощник. Вон Гриша тоже не живет с нами. А мы, Степка, на квартиру пойдем.

Степан ничего не сказал. Он задумался. Слова Панфила его точно ошпарили; он, вытараща глаза, смотрел на метелку – и долго простоял в таком положении, до тех пор, пока не вывела его из оцепенения одна лошадь, начавшая чихать. Панфила уже не было в напоре.

Степан был совсем сбит с толку своим приятелем. Находясь постоянно среди рабочих и считая себя тоже рабочим, только еще небольшим, он понимал все, что творилось вокруг него; но он был в таком возрасте, в котором легко подчиняются влиянию товарищей и взрослых. Свое ничтожество перед взрослыми он сознавал из того, что он не имел такой силы, как взрослые; взрослый легко мог стиснуть ему руку так, что он чувствовал сильнейшую боль; на многие слова он не мог ничего отвечать; не мог многого сделать так, как делают взрослые: взрослые ругали его мальчишкою, не позволяли ему дотрогиваться до таких вещей, до которых ему не следовало дотрогиваться, умеряли его любопытство, толкали его оттуда, где ему, по его летам, быть не следовало, теребили за уши, если он забирался в кабак и тянул из рюмки водку. Поэтому, отстраняемый всюду, даже в церкви, на задний план, он всячески старался добиться того, от чего его отстраняли, и старался во всем подражать взрослым, для того чтобы его не считали мальчишкою. Вообще ему, промысловому мальчику, приходилось переносить много, и надо удивляться живучести его натуры.

В отце Степан видел домохозяина, главу, но он его нисколько не боялся, потому что его не боялась мать, которая, как он понимал, держала отца в ежовых рукавицах. От рабочих он слышал, что его отец мокрая курица, которую мать его может загнать куда угодно. Кроме этого, он слышал от брата, что он незаконный сын, что отец его другой, и поэтому он не имел особенной любви к отцу, относясь к нему, как к хозяину. Мать была для него не то: он ее всегда видел дома, мать одевала его, давала есть, кричала на него и колотила его, когда он ее не слушался. Степан не боялся посторонних людей, которые его бранили и били; а мать скажет слово – он боится, чтобы она его не ударила, а станет огрызаться, ему же достанется. Из ее разговоров он понимал, что мать если работает на промыслах, прядет куделю, ходит куда-нибудь, то все это она делает для детей. Но, видя, как рабочие обращаются с пожилыми женщинами на промыслах, он все-таки сознавал, что женщина не мужчина, ее власть над ним нейдет дальше ее дома и что поэтому мать его только в своем семействе имеет верх над детьми, но на промыслах существо довольно слабое, ничем не рознящееся от других женщин, с которыми кто хочет, тот и заигрывает, которых кто хочет, тот и обругает. Все-таки он свою мать уважал и, если кто при нем говорил про нее нехорошо или ругал ее, он заступался за нее, что очень смешило молодых рабочих. И соседи говорили, что у Ульяновых из детей только один Степка покорный, который со всех ног бежит туда, куда пошлет его мать, и относили это к тому, что он был любимец Степаниды Власовны.

Знакомые Степаниды Власовны говорили, что Степан походил лицом и манерами на нее. И действительно, Степан, вымывшись в бане и принарядившись, казался очень красивым мальчиком. В характере его было много женственности, и он был мальчик, как говорили девушки, завидующий. Но однако, несмотря на то, что зависть свою он проявлял перед всеми родными и любил поесть сладкого, он каждую копейку отдавал матери, и если покупал пряник, то не знал, что ему соврать матери, которая знала, сколько Степан получает заработка. Так было до отъезда отца. При прощании в его голову врезались непонятные слова родителей и сестры; он заметил, что в семействе что-то от него скрывают. Он долго думал об этой сцене и ничего не

мог выдумать, а пришел только к тому заключению, что его отец человек нехороший, сестра тоже нехорошая, потому что она что-то сделала нехорошее, коли плакала. Но отчего, спрашивается, ушел отец? Отчего он его не взял с собой, если на золотых хорошо? Отчего отец плакал и все плакали, когда прощались с ним?.. Уж не обидел ли кто его отца? Думал Степан и старался подслушать, что про него говорят рабочие. Из этих подслушиваний он узнал, что его мать ругают все мужчины за то, что она сама не умела беречь деньги, когда отец имел большие доходы; что не трать она деньги на угощения своих любовников, Елизар Матвеич не сидел бы понапрасну три года в лесу без дела, а мог бы заняться торговлей; что от такой сварливой жены поневоле побежишь куда-нибудь. И много-много Степан услышал от рабочих. Горько ему было, плакал он, что обижают его мать, и при первом же случае хотел пожаловаться ей, но в первые дни мать была очень сердита, к ней нельзя было и подступиться, ругала его, гнала вон, говоря, что теперь ей и самой нечего жрать, не только что кормить еще такую ораву.

– А, мамонька, мои деньги... – сказал Степан, думая, что он этим угодит матери.

– Ты што меня коришь своими-то деньгами? Ах ты, мерзавец! Он только што в работу поступил, а уж начал укорять меня, што я на его деньги живу.

Долго ругалась мать и даже побила Степана в этот день. Степана это разбидало. Ему думалось, что матери не жалко его. Она не понимает того, как ему тяжело на работе.

Мать день ото дня становилась сердитее; если сын отдавал ей деньги, она ругала его, зачем он мало принес, что он, вероятно, сошелся с мошенниками, которые обирают его. Станет возражать Степан, мать так крикнет на него, что он вздрогнет и не найдет, что сказать.

Крепко стал Степан подумывать о том, как бы угодить матери. Прежде мать по голове его гладила, когда отдавал он ей недельный заработок, кормила его досыта; если что пекла сладкое, то сама не попробует, а даст ему; теперь бьет за то, что он мало носит денег, хотя он теперь целыми двумя копейками получает больше прежнего, сладкого ничего нет, да и хлеб даже покупают с рынка. Прежде мать заботилась: нет ли на халатишке дыры, целы ли у него ботинки; теперь все разваливается, мать не спрашивает, а поди-ка, сунься к ней, когда она все ворчит! Хорошо еще, что сестра кое-как заштопает. О Лизавете Елизаровне он тоже был дурного мнения, но она в последнее время стала ему больше нравиться, потому что она с ним разговаривала, играла с ним в карты, расспрашивала его, кормила и заштопывала дыры на халатишке и на ботинках; когда сестры и Пелагеи Прохоровны не было дома, туда хоть не показывайся: ни корки оглоданной не найдешь нигде. Кроме этого, ему нравилось то, что она отказалась быть женою Григорья Прохорыча, которого он терпеть не мог за его хвастовство и надменность.

Степану мало приводилось работать с рабочими. Он больше находился в насосе около лошадей, один или с каким-нибудь рабочим, который больше молчал. В таком уединении у него много было времени думать, к тому же он не был охотником петь один песни. И он думал много. Но главною его думою ежедневно было о том, что будет из него, когда он сделается богачом, и каким образом ему достичь до того, чтобы сделаться богатым человеком? Все это он развивал на разные лады, каждый новый предмет давал ему тему для новых дум. Летом он думал, что найдет деньги под лодкой, в которой он или кто-нибудь перевозил состоятельного человека через реку; на эти деньги он завел бы несколько лодок, в которых его семейство стало бы перевозить весной людей через реку дешевле, чем берут на перевозе, и таким образом нажил бы много денег и из них половину брал бы себе, а половину отдавал матери – и т. д. Зимой он думал: хорошо бы заработать деньги на лошадь, которую бы можно было запрячь в ворот, а тогда он стал бы получать платы по четвертаку в день, по праздникам бы стал на этой лошади возить дрова на варницы и мало-помалу разжился бы – и т. д. И чем больше казалась ему невыносимою брань, тем больше он проводил время в думах о богатстве и даже мало спал по ночам. А тут еще новое горе: промысловая Варька, пятнадцатилетняя девушка, с которой он с трехлетнего возраста играл вместе, стала ему нравиться более прежнего. Варьку он стал

почему-то бояться и при мысли о ней по всему телу чувствовал что-то приятное: так вот и хочется видеть ее, сидеть с ней и смотреть на нее. Уж он ее раз обнял в чулане, да она его так оттолкнула, что он сильно ушиб об косяк левый локоть. А как раз обнял да получил толчок, захотелось и в другой раз, только она сказала:

– Не стой! Подари мне платок с картинкой, так я тебе позволю обнимать меня часто. Тогда и я тебе варежки подарю.

Задумался Степан крепко над словами своего приятеля. «В самом деле, – думал он, – если я не стану отдавать денег матери или сестре, я накоплю денег. Куплю себе ботинки, Варьке платок; Варька мне подарит варежки и чулки». Но как это сделать? Что сказать матери, куда деньги спрятать?

По окончании работы он зашел за Горюновым в варницу, тот уже спал. Ульянов разбудил его.

– Не пойду. Гришка вон тоже не ходит, и я не пойду. Не ходи и ты, коли хочешь быть мне товарищем, – сказал Панфил Степану.

В первый раз пришлось Степану ночевать в варнице. Случалось ему спать и в шалаше у отца, и в лесу, и на берегу реки, зато он спал там в виду у матери или с разрешения ее; теперь же ему пришлось покидать мать и сестру по своему капризу. Но отстать от Панфила ему не хотелось; рабочие говорили: где Степке спать в варнице, он ни на шаг не может отойти от матери и спит на перине! Степан лег к Панфилу, но долго ворочался с боку на бок, и если бы не ночь, то давно убежал бы домой.

На другой день ему было очень скучно об матери, и он боялся теперь показаться ей. Чем больше он думал о своем поступке, тем больше находил себя неправым, потому что никто, кроме матери, так не любил его раньше. А если теперь она не любит, то, может быть, это недолго будет продолжаться. Вечером Степан направился домой, но Панфил попался ему навстречу. Он нес на веревочке двух налимов.

– Степка! Иди уху хлебать!.. Славная будет уха, с луком, с перцем... Славно будет! Гуляй, Степка!..

У Степки слюни текли от желания похлебать ухи; ему слышался запах рыбьего навара. Он уже с покрова не едал рыбы. Тогда мать пекла пирог с сигаами, а об налимах он только слышал, что они хороши. И он пошел за Панфилом.

Панфил Горюнов справлял сегодня свое вступление в товарищество рабочих. Хотя рабочие и не считали его за большого рабочего, но так как он работал наравне с ними, то же, что и они, то они не гнушались с ним водить компанию, обедать вместе – и в некоторых случаях даже затыкались им, то есть просили его, в случае отсутствия товарища, заменить того, за что он, кроме спасибо, пока ничего не получал. Товарищество состояло в том, чтобы работать вместе, в случае утайки кем-либо какой-нибудь промысловой вещи всем молчать, хотя бы при этой утайке не было произведено между товарищами никакого дележа, не выдавать товарища, если он почему-нибудь ушел из варницы с полдня или с полночи, а требовать, чтобы ему была положена плата, как и всем, за полное число урочного времени. Товарищество составляли большею частью друзья, и поэтому в компанию к ним попасть было нелегко. Панфил же попал потому, что он был мальчик бойкий, вострый на словах, умел угодить всем, раза два уже обругал зрителя, и тот ничего не сделал за это мальчишке, потому что не нашел, что возразить на его резкие замечания. Особенно же рабочим нравилось в Горюнове то, что он отказался жить с сестрой и, стало быть, будет иметь деньги, которыми легко можно будет им позаимствоваться от него. Рыбу же Панфил достал довольно смело. Напротив амбара, недалеко от берега, он заметил утром какого-то мужчину, вытаскивающего из маленькой проруби палку, потом какую-то плетушку. Это его заняло. Он подошел к нему и узнал, что мужчина ставит морды и снасти, которыми ловят рыбу. Вот вечером Панфил и пошел ловить рыбу. Морду он не мог поднять, а бечевка с вершковыми крючками была так велика, что он ее едва

на четверть вытащил из дыры. И тут с ним чуть не случилась беда: один крючок зацепил за халат, его стало тянуть к дыре; ладно, что он ножик взял с собой и обрезал бечевку, – и потом схватил бечевку с налимками, пустился бегом к варницам, потому что услышал недалеко от себя крик рыболова, который хотел его побить. На промыслах он был в безопасности, потому что туда рыболов идти побоялся бы.

Уху хвалили все, несмотря на то, что к ней доставало водки. Степан ел с жадностью, и после ужина у него прошла охота идти домой.

Так прошло до субботы. В субботу утром ребята задумались: где им выпариться и где провести воскресенье? Утром Панфил высказал это затруднение товарищам. Те тоже придумались.

– В бане выпариться беспрерывно надо, и рубаху надо тоже попарить, да вымыть надо... У нас-то нету бань, сами паримся где попало, а вам, ребяташкам, и подавно негде... Мы, пожалуй, с собой возьмем, только куды после бани вам деваться? Ведь не все же на промыслах быть? Ведь бывает же и свинье праздник...

Так рабочие вопрос о том, где провести ребятам праздник, ничем не решили.

В субботу была работа и женщинам на промыслах. Как водится, там были Лизавета Елизаровна с матерью и Пелагея Прохоровна. Степанида Власовна проработала немного и пошла разыскивать сына.

– Варвар! В добрую землю, видно, вошел! – кричала она на Степана.

Степан молчал.

– С этих лет от дому стал лытать (бегать)! Где ты был?

– Здесь!

– Врешь! Не поверю!

– Я, мамонька, не пойду больше домой. Мне и здесь хорошо.

Мать разразилась ругательством, но на нее прикрикнул рабочий:

– Што кричишь-то! Только парня от деда отнимаешь. И так уж чуть не все жилы из него вытянула, – проговорил он вслух и оттолкнул ее от насоса.

Степанида Власовна пошла жаловаться на рабочих смотрителю, что они совсем развратили Степку, и просила его заступиться за нее, то есть отодрать его хорошенько сейчас же при ней, как это было прежде.

– Не могу. На то есть полиция.

Степанида Власовна заплакала и поклонилась смотрителю в ноги, прося его выдать ей заработок за Степана.

– Ты, матушка, сама в состоянии робить! От тебя и теперь разит водкой.

И смотритель вытолкал от себя Степаниду Власовну.

Степанида Власовна не унялась, а пошла к полицейскому начальству, которое отказалось наказать розгами ее сына, но дало ей бумагу, чтобы заработную плату сына ее Степана выдавали ей.

Смотритель позвал к себе Степана и объявил ему о проделке его матери.

Степан стоял бледный, молчал.

– Не ты первый... Эти пьяные бабы меня совсем сбили с толку, и я не знаю, как помочь тебе... Если я всем стану помогать, самому придется голодом сидеть! А супротив полиции я ничего не могу сделать, потому наши порядки с ее порядками не сходятся.

Вечером Степанида Власовна получила за Степана деньги за всю неделю, так как Степан работал всю неделю на одном месте. Рабочие ее стыдили; уговаривала ее и Лизавета Елизаровна не брать деньги, если Степан не хочет их отдавать им для хозяйства; плакал Степан, – ничто не помогло. Степанида Власовна ушла с деньгами.

– А ведь, ребята, с ней ничего не сделаешь. Она мать! – говорили рабочие.

– Да парню-то от этого не легче!.. Надо бы его пристроить куда-нибудь.

– Кто станет даром кормить?.. Слушай, Степка... Твоя мать берет за тебя деньги, значит, полиция думает, што она живет на твой счет и семью кормит... а всем теперь после Елизара известно, што кормитесь вы Лизкой. И дурак ты будешь, если не станешь требовать свое... Ступай домой хозяином. Знать, мол, не хочу; давай мне мое; одевай, обувай меня... – проговорил один рабочий.

– Хоть бы кормила, и то ладно, – заметил кто-то в толпе.

Настроенный таким образом рабочими, Степан пошел домой с сестрою, Панфилом и Пелагеею Прохоровною, которая говорила, что хорошо он делает, что не живет дома, потому что ее и так корит Степанида Власовна углом. И если бы она, Пелагея Прохоровна, имела больше заработка, то ушла бы на другую квартиру, да и теперь живет только потому, что ей веселее с Лизаветой Елизаровной.

Степаниды Власовны дома не было. Она пришла уже в то время, когда все выпарились в бане, – и пришла пьяная, но ворчала недолго и, свалившись на пол, скоро заснула. Лизавета Елизаровна пощупала карман в сарафане Степаниды Власовны – ничего не брякало.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.